



ВОКРУГ ОРДЫНКИ

МЭНУАҒЫ
ИНАПРЕСС

Михаил Ардов

Цистерна

Посвящаю жене

УВАЖАЕМЫЕ ГРАЖДАНЕ СУДЬИ! Я ДОЛГО ДУМАЛ НАД ТЕМ, ЧТО МНЕ СЛЕДУЕТ СКАЗАТЬ В ЭТОМ МОЕМ ПОСЛЕДНЕМ СЛОВЕ... НО МНЕ ВДУШАЛИ С РАННЕГО ДЕТСТВА: ЧИСТОСЕРДЕЧНОЕ ПРИЗНАНИЕ СМЯГЧАЕТ ТЯЖЕСТЬ ЗАСЛУЖЕННОЙ КАРЫ. И ВОТ ЗАЯВЛЯЮ ПРЯМО — ДА, Я ВИНОВЕН ПО СТАТЬЕ СЕМИДЕСЯТОЙ УГОЛОВНОГО КОДЕКСА — В ХРАНЕНИИ АНТИСОВЕТСКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ, НО, БОЖЕ УПАСИ, НИКАК НЕ В ИЗГОТОВЛЕНИИ ИЛИ РАСПРО-СТРАНЕНИИ. Я МОГУ ТОЛЬКО ПОВТОРИТЬ ЕЩЕ РАЗ ТО, ЧТО ТВЕРДИЛ НА ПРОТЯЖЕНИИ СЛЕДСТВИЯ И УЖЕ ЗДЕСЬ ПО ХОДУ РАЗБИРАТЕЛЬСТВА: ПАПКА С НАДПИСЬЮ «ЦИСТЕРНА» ДОСТАЛАСЬ МНЕ СЛУЧАЙНО ОТ ПЛЕМЯН-НИЦЫ ДАЛЬНЕГО МОЕГО ЗНАКОМОГО ИВАНА ПЕТРОВИЧА ХОЛОДКОВА ПОСЛЕ ЕГО СМЕРТИ, КОТОРАЯ ПРОИЗОШЛА ПРОШЛОЙ ЗИМОЙ ОТ ВИРУСНО-ГО ГРИППА, ПЕРЕШЕДШЕГО В ДВУХСТОРОННЮЮ ПНЕВМОНИЮ... ПАПКА БЫЛА НАЙДЕНА В АРХИВЕ ПОКОЙНОГО И ПЕРЕДАНА МНЕ ПО ТОЙ ПРИЧИНЕ, ЧТО В ИХ СЕМЕЙСТВЕ Я ИЗВЕСТЕН КАК ПОКЛОННИК ИСКУССТВ И ИЗЯЩНОЙ СЛОВЕСНОСТИ...

ВОТ ТАК Я СДЕЛАЛСЯ НОВЫМ, ТРЕТЬИМ ПО СЧЕТУ, ВЛАДЕЛЬЦЕМ ЭТИХ БУМАГ. КАЮСЬ, КАК ТОЛЬКО Я ОЗНАКОМИЛСЯ С СОДЕРЖИМЫМ, У МЕНЯ НЕ ОСТАЛОСЬ НИ МАЛЕЙШЕГО СОМНЕНИЯ, ЧТО ЗДЕСЬ СОДЕРЖИТСЯ МНОЖЕСТВО КЛЕВЕТНИЧЕСКИХ ИЗМЫШЛЕНИЙ, ПОРОЧАЩИХ СОВЕТСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ И ОБЩЕСТВЕННЫЙ СТРОЙ. ОДНАКО ЖЕ, СО СТОРОНЫ ЧИСТО ХУДОЖЕСТВЕННОЙ, ВСЕ ЭТО ПОКАЗАЛОСЬ МНЕ ДОВОЛЬНО ЗАНЯТНЫМ, ТАК ЧТО РУКА НЕ ПОДНЯЛАСЬ СРАЗУ ЖЕ ПРЕДАТЬ БУМАГИ ОГНЮ ПРОШУ ВАС, ГРАЖДАНЕ СУДЬИ, ПРИ ВЫНЕСЕНИИ МНЕ ПРИГОВОРА ПРИНЯТЬ ВО ВНИМАНИЕ ВСЕ ВЫШЕИЗЛОЖЕННОЕ.

Вороной, весь промасленный станционный паровоз издал свой щемящий гудочек, шумно выдохнул — толчок, и цистерна покатила, громынула на стрелке сперва передней четверкой колес, потом задней и, округло удаляясь от магистрали, понесла свои лоснящиеся бока, свой семизначный номер, почти стершийся от времени, и белое пятнышко — череп, кости и слово «ЯД!»... И уже заскрипели рессоры, рельсы сделались неровными и ржавыми, редких шпал не угадаешь в жирной мазутной земле... А потом путь исчез в зарослях репейника, ушел под пыльную сень лопухов, беззвучно сокрушаемых колесами... Наконец паровозик притормозил, издал еще один пронзительный крик, в ответ ему заскрипели железные ворота с ржавыми пятиконечными звездами, и цистерна медленно вкатилась на грязный и запущенный заводской двор...

Он хотел, чтобы сочинение его начиналось с этой фразы, именно с этого куска, и я долгом своим почел исполнить его волю. Я вообще старался здесь ничего не перемещать, все тут именно так, как он, должно быть, оставил. Во всяком случае так, как это попало ко мне... Кто же это — «он»? Он — здесь главное лицо. Он — автор... А я?... Моя собственная роль весьма неопределенна... Пожалуй, я нечто вроде гида, ведущего... Конферансье, если хотите... Представляете, такой донельзя интеллигентный пошляк доброго старого времени — в безупречном галстуке и в обворожительной улыбке...

— Добрый вечер, здрассте... Следующий номер пашей программы принадлежит, так сказать, к вокальному жанру. Имею честь вам представить...

Пора, однако же, представиться и самому...

Я — не злой человек... Даже я — не больной. Здоровье у меня почти завидное для моих семи с лишком десятков. Сердце работает, как насос. И печень не пошаливает... Наверное, я просто старый... И брюзга... И все мне уже надоело...

Мне бы с газеткой в сквере сидеть да с симпатией поглядывать на раскормленных детей и собак. А я вот не могу... Не получается, пробовал...

И вот сижу я тут у себя, в шестом этаже... Нет, тоже не сижу... Я или на диване валяюсь, или от стенки к стенке хожу...

Там — дома, в Москве легче было...

Или это мне теперь только так кажется?..

Нет, там я, бывало, и в кресле располагался... Кресло у меня хорошее, спокойное, оно и сейчас тут, со мною...

Было когда-то хорошее.

Еще папенька, Царствие ему Небесное, присяжный поверенный в этих самых креслах с «Русским словом» в руках сиживали-с.

Да... А вот как отправили они меня из Москвы на эти выселки, я ни разу на кресло не присел...

Это место тоже, впрочем, у них теперь Москвою считается... Но для меня Москва навсегда замкнута Садовым кольцом... И все... И хватит об этом...

Вот видите, с первого раза уже зарпортовался... Плохой, как видно, из меня конферансье...

Сейчас, сейчас, уже исчезаю...

Следующий номер нашей программы принадлежит, скорее всею, к жанру лирическому...

ВСТРЕЧА

Это было в самый мой первый приезд. Я хорошо запомнил тот июньский день на Ключевой. Я расхаживал по всему просторному дому босиком по дощатым полам. Окна были настежь, всюду гуляли сквозняки и гудели мухи. Настроение у меня было превосходное. Только что я написал девять страниц сценария и теперь ждал хозяйку, которая должна была вот-вот прийти и накормить меня обедом.

Она задерживалась, и я немного беспокоился, потому что через час у меня было свидание с местным любителем старины — внизу, в центре города, в особняке, который занимает здешний музей.

Громкий голос и смех моей хозяйки я услышал издали, пока она поднималась по Ключевой. Я открыл дверь, она вошла в дом, а спутница ее женщина в светлом нарядном костюме — осталась ждать у крыльца, пока хозяйка вынесет ей зеленый огурец, недостающий для окрошки.

Мы поздоровались.

Проворно приготавливая обед, хозяйка рассказала мне, что женщина эта городской судья, что муж ее — местный доктор по имени Антон Павлович, что оба они очень милые люди и что подружилась она с ними, пока болела ее покойная матушка, которую пользовал этот врач с таким знаменательным именем и отчеством.

А еще через полчаса я уже спешил вниз по Ключевой, шел, как мог быстро, в город, в центр, в музей, потому что до момента свидания моего оставались считанные минуты. Дойдя до речушки, я свернул влево и пошел вдоль русла, мимо милиции и КПЗ, что разместились в здании прежнего уездного острога и в обезображенной тюремной церкви.

Я уже дошел до асфальтированной улицы, с которой начинается каменная часть города, и хотел было пересечь ее, когда обратил внимание на четверку людей, идущих справа мне наперерез. Трое из них были в милицейской летней форме. Один шел впереди, двое — сзади. А между ними равнодушно шагал кто-то серый, высокий и прямой. Я даже не сразу сообразил, что это — узник, хоть инстинктивно вздрогнул при первом же взгляде на него. Не сообразил, потому что мысль эта никак не вязалась с мирными домиками, палисадниками, сиявшим солнцем, деревцами, желтыми утятами в грязной воде, со всей пустынной в этот час улицей.

Замедлив шаг, я принялся с постыдной жадностью разглядывать человека в сером — его серую, поросшую короткими волосами голову, явственно видную форму его усеченного черепа, оттопыренные уши, тонкий нос, худое лицо. Он держался очень прямо, неестественно прямо. И я не сразу понял отчего. Только когда он поравнялся со мной, я заметил, что прямизна эта насильственная, что руки узника связаны чем-то за спиной. Вглядевшись внимательно, я увидел наручники — тонкие стальные браслеты, скрепившие его запястья...

Между тем у конвоиров был вовсе не свирепый, а какой-то буднично-серый вид. Да и сам узник с ленивым любопытством поглядывал по сторонам, щурясь от яркого солнца, и, казалось, вовсе не намерен был бежать. В зубах его торчала папироса.

Они пересекли мой путь. И тогда я, заставив себя не оглядываться, быстро перешел улицу. Мне стало мучительно стыдно: я стыдился самого себя, своего благополучия, своего жирного обеда, девяти страниц, написанных утром, своего копеечного интереса к старине... Я продолжал быстро идти вдоль русла речушки, и теперь меня подгоняла не только боязнь опоздать к сроку свидания, но и подсознательное желание убежать подальше от неприятной встречи, вернуть себе хотя бы тень утраченного благодушия.

Но я тогда плохо знал город. Конвоиры знают его гораздо лучше. Оказалось, что я шел не самым коротким путем, и поэтому, стараясь убежать от мрачной процессии, я спешил к новой встрече с ними.

Я свернул на главную улицу, но не успел пройти и ста метров, как та же самая четверка вышла из переулка прямо на меня. Я еще ускорил шаг, а они, по-прежнему вовсе не торопясь, двинулись по мостовой. Я шел впереди них и, оборачиваясь на каждом шагу, смотрел и смотрел прямо в худое лицо, видел тонкий нос и бумажный мундштук папиросы, которую арестант все еще жевал. Мое отвратительное любопытство здесь, на главной улице, разделяли еще несколько прохожих, и это скрадывало часть вины.

Куда его ведут?.. Только теперь я догадался задать себе этот вопрос и тут же увидел отгадку. Городской суд — гласила вывеска на ближайшем доме.

Серый, коротко стриженный человек, прямой, как жердь, с вывернутыми руками и сведенными лопатками, жуя свою папиросу, медленно шел по залитой солнцем улице, шел на свидание с моей новой знакомой — с молодой женщиной в светлом нарядном костюме, которая только что ела окрошку с огурцом, на свидание с супругой доктора по имени Антон

Павлович.

июнь 1968 — декабрь 1970

Продолжаем наш концерт...

Прошу вас, милостивые государи, обратить особенное внимание на предыдущий номер... Дело в том, что автор наш, вернее, рассказчик, вовсе не часто является на страницах собственной своей персоной. Он предпочитает не высовывать носа, все время норовит скрыться в пестрой толпе персонажей, в их базарной разноголосице...

Ну-с, а теперь позвольте мне...

Нет-нет... Виноват, еще два слова... Мне пришло сейчас в голову, что «Цистерна» все же название неподходящее. Само по себе оно не такое уж плохое. И, конечно, вполне бы сгодилось, кабы ему удалось осуществить свой замысел...

Ну а как же бы наименовать то, что получилось?

Не знаю... Может быть, как-нибудь так: история одной неудачи. Эдакий новейший жанр...

Бесспорно он — неудачник... Да, честно говоря, здесь присутствуют теперь целых два неудачника — молодой и старый. Старый и молодой...

Но — продолжаем наш концерт...

А городок между тем прелестный — весь иссечен оврагами и вздыбился буграми, дома и сады то карабкаются на самый верх, то прячутся в низинах... Петляют и горбятся улицы, поросшие травой, по ним расхаживают степенные куры и горластые петухи...

Окна все с резными наличниками, на фасадах под крышами игрушечные балкончики — гуляночки... Всюду лавочки, крылечки, на них сидят соседки, глазеют друг на друга и на прохожих, щелкают семечки, судачат обо всем на свете и на своей улице и, отгоняя комаров, ритмически обмахиваются березовыми ветками...

Особняк на бывшей Дворянской улице. Каменная кладка, два этажа, чугунное крыльцо, навес над парадной дверью. Все хорошо, но почему-то торчит поперек тротуара несообразно большой балкон с массивными каменными кронштейнами — эдакая тяжелая нижняя челюсть, выпяченный подбородок...

Здесь помещалась частная женская гимназия Гидройц-Юраго.

А под балконом скамеечка, а на скамеечке — старичок, старушечка и беленькая кошечка с розовым хвостиком. Всей семьей гуляют, дышат вечерней прохладой...

И почти у каждого деревянного домика над крыльцом пристроена низенькая верандочка. Там обычно обитают молодые пареньки и девчонки на выданье, оттуда по вечерам подрываются пластинки и магнитофончики:

Хмуриться не над-да, Лад-да,

Хмуриться не над-да, Лад-да!

НА ТОЛКУЧКЕ

- А-а-а... Сегодня это что за базар?.. Вот в прошлое воскресенье...
- А куда она мне?
- Бери, бери! Чего смотришь?
- Ну и нечего глядеть!
- Вы говорите такую цену и не стесняетесь?!
- Это ведь шуба, не пальто...
- Дырявая шуба.
- Сам ты дырявый!
- Кругом одна дырка!
- Постыдились бы бесстыдство свое показывать!
- Это что это у вас лохматое? Шиньон?
- Шиньон.
- Ну, и сколько?
- Тридцать рублей... Его расчесать можно.
- Да ты померяй, померяй... Самый сейчас модный сапог!..
- В прошлое-то воскресенье тепло было...
- Бог-то, видать, совсем уж старый стал. Все путает — когда дождь надо, когда чего...
- У меня была ротонда на лисьем меху...
- Ротонда? Это что за ротонда?
- Все я продала, все у меня было. Какие у меня были сережки с бирюзой и с аметистом. Я работала в поликлинике, и лучше меня из сестер никто не одевался. Потому что мне сестра из Москвы присылала. Эх, всего я поносила, всего покушала. Икорку кушала и рыбку...
- Рыбка-то вон и сейчас есть. Треска...
- Да и той нет...
- Если бы у меня был жив зять, я бы так не бедствовала...
- Вот, бери одеяло...
- Нужно оно мне, как на Петровку варежки!

— Да ты мне ее так отдай, впридачу...

— У меня давалка-то не на палке, была бы на жерде, совал бы везде!..

— Это сестрина кофта. Болела она крепко. Теперь схоронили... Осталась я одна, как куст обкошенный...

— А деньги-то на поминки приготовила ли? Припасла?

— А куда они мне? Я уж есть не захочу... Завоняю — придут, похоронят...

— Поверх земли-то не положут...

— Где этот цыган-то тут вертелся? Не видали? Я ведь ему полтинник за двугривенный сдала!..

— Уж он убежал...

— Вы скажите, какая ваша цена?

— Ну, рублишку я дам...

— Рублишку?..

— Это же рухлядь, рвань!

— Ведь это — бывалочная вещь...

— Ей, может, сто годов!

— Самому тебе — сто годов!

— Вот всегда так. Пойдешь на базар, какая-нибудь очередь прицепится. Ну и стоишь...

— Я себе в питании не отказываю. Я тогда только себе отказываю, как придет пост. А в мясоед я себе ни в чем не отказываю.

— Я всех схоронила. Одним раком. Семь человек умерли одним раком.

— Меня все лечил еврей, да пользы никакой. Он терапеи лечит.

— У вас, говорит, рак в шестом, в седьмом поколении в крови.

— Вот она — хозяйка.

— Шапка беличья. На нее дождь пойдет, высохнет, и опять она такая же...

— Да больно дорого...

— Купи в магазине...

— Бульдозер на Луну запустить — это мы можем, а чтоб шапки свободно были, это мы не можем...

— Видал у галки свигалку...

— Он уж, почитай, с третьей живет...

— А чего тут дивного? Как раньше у цыгана лошади, так теперь у мужиков бабы...

- Америка нас не боится. Она нашей войны боится.
- А мы боимся ее техники. У нас таких орудиев нет.
- В Америке дамы с собачками гуляют, с веерами на лавочках сидят. А у нас этого нету.
- Он вчера бушевал. Он вчера был выходной.
- Нечего смотреть да разглядывать... Она ни разу не стиранная.
- Он у кого-то стянул велосипед. У него сроду велосипеда не было.
- Вы возьмете, другой возьмет, вот она и грязная!
- Он потому уехал, что он жену убил. Не жена она ему, а наложница...
- Дорого просите...
- Тут жила татарка У ней муж порезал Бориса и тоже скрылся...
- Чего там дорого? Эти деньги теперь, как мясо в жару...
- Мне на ремонт три ведь тыщи надо...
- Три тысячи?
- Старыми три...
- Тьпфу!.. Что ты все старыми считаешь?
- Мы ведь его, дом-то, ставили на старые...
- Да, бери, бери, не бойся! Она шунчовая. Дочка с фабрики принесла. Они там все чистое такое работают — полотенца фланелевые, шунчу...
- Хы! Все бывает. И у девушки муж помирает, а у вдовушки живет...
- Сама-то ты на гуще, а любишь на дрожках.
- У нас в улице как взялось гореть... В понедельник дом сгорел. Во вторник. В среду — три дома... И чего горят?...
- Все, подчистую! Вор-то ворует, хоть стены оставляет, а пожар-то нет.
- Не говори. Вон у нас хозяева-то хоть вытащили так кой-чего, а квартиранты их и на работе были. В чем ушли — в том и остались. Одни фуфайки — ни ложки, ни плошки...
- Покажь, покажь!.. Сегодня — не Казанская!..
- Что? Денег жалко?
- Вон на вино им не жалко!
- Дуют, как квас в покос!
- Старая ты, а дура.
- Дура?! Это я — дура?! Скотина ты! Скотина и есть! Скотина безрогая! Я те дам — дура!

Умная! Твоими бы мозгами мне задницу подмазать!

— У Клавди-то слыхала, чего было? Она своо на пятнадцать суток оформила Он отсидел, вернулся домой и говорит ей: «Я, говорит, там пятнадцать суток все парашу выносил да нюхал...» Взял горшок-то ночной, дети напрудили, налил ей полстакана... «Пей!» — говорит. Она не хочет. А он взял кочергу. «Башку, говорит, отшибу!» Ребятишки-та и говорят: «Пей, говорят, мама, ведь убьет». Ну, она и глотнула. И теперь милиция не знает, каким его судить судом. По какой такой статье...

— Что делается...

— Твой-то работает?

— Как же, заставишь его. Ходит к пристани кой-что выставя...

— Я снохе купила, да вот не хочет носить... Немодное!

— Плохо живете?

— Можно бы хуже, да некуда. Я ведь и то им говорю: вот придете к холодным-то ногам...

— Хуже нет, как брать коммунальных-то этих, каморочных. И по дому ничего не делает, и в огороде от ней проку нет...

— А с ними разве можно ладить? Это — змеи. У нас в улице их много. Летом выйдут, я посмотреть не могу! Я их еще зову — вешалки. Они на мальчишек-то вешаются. Прямо вешалки и змей шипучий!

— Ну и молодежь пошла! Плюнешь в рожу — драться лезут!

— Разве это — базар? Вот в прошлое воскресенье...

декабрь 1970

Нищенский торг раннего лета...

На столах под небом и под навесами — желтоватое молоко, алебастровые яйца, марганцовая редиска, молодой лук зелеными пучками-колчанами, болотного цвета огурцы, белесые моченые яблоки и грибы летошнего засола... Деревянные ложки, сита, корзины из свежей лозы...

Благодаря толчее и многолюдству впечатление скорее отрадное, нежели унылое... Тем более что самое страшное — в стороне, скрыто за высоким серым забором.

А там просто стоят на привязи десятка полтора жалких колхозных кляч. Боже, что за одры — какие грязные, костлявые, шелудивые, со спутанными гривами и хвостами, со старческими распущенными губами...

Поверить нельзя, что это все родные внуки любимцев и кормильцев целых крестьянских семей...

Многое можно понять — надругательство над дедовским достоянием, страдание и гибель миллионов двуногих — за что боролись, на то и напоролись...

Но какую же вину искупают вот эти-то безгрешные твари?

— А?.. Что?.. Отчего я не слышу аплодисментов?.. Вот так, так... Ну, еще похлопаем... А все же признайтесь, мне удалось заинтриговать вас?.. Ну, слегка — самую малость?.. Ну, если вы это признаете, то так и быть — по неизреченной милости моей я начну объяснение...

Я всегда вздрагиваю от звонков... И, спеша, отворить дверь, никак не могу нашарить ногами свои шлепанцы... Ко мне ведь никто никогда не приходит. Даже почтальонша по новой моде сует почти несуществующую уже корреспонденцию в узенькую щелку, расположенную внизу лестницы. Пенсион они пересылают мне в сберегательную кассу... Племянницы мои редко являются проверить, не оставил ли я им еще наследства, крайне редко. Немудрено, что я забываю подчас о самом существовании звонильного приспособления...

Вот и в тот раз я вздрогнул от неожиданности, с возможной поспешностью сполз с дивана, на ходу запахнул халат и отворил дверь... Передо мною оказались дети — вихрастый мальчик и девочка с веснушками.

— Дядя, — сказал мальчик.

— Дедушка, — сказала девочка, — у вас есть ненужная бумага?

Тут я заметил у него в руках, пачку старых, газет, а у нее — пухлую папку с тесемочками.

— Пожалте, молодые люди, — сказал я. — Сейчас что-нибудь для вас отыщем...

Они сделали по два неуверенных шага и остановились, пораженные необычным декорумом моего жилища... В этот момент я заметил на картонной папке, которую держала девочка, слово «ЦИСТЕРНА», выведенное крупным и несколько расхлябанным почерком.

— Что это у тебя? — сказал я и взял у нее папку.

— Это нам внизу тети дала, — сказал мальчик. Я развязал тесемки и заглянул внутрь. Мелькнула встрепанная машинопись, какая-то правка, какие-то заглавия...

— Отдайте-ка это мне, — по вдохновению сказал я и вручил им по внушительной стопке номеров «Нового мира», коею состоял когда-то усердным подписчиком. — Идет?

— Спасибо, дядя, — сказал мальчик.

— До свидания, дедушка, — сказала девочка.

— Отречемся от нового мира, — сказал я и закрыл за ними дверь.

Дети ушли, я вернулся на диван со своим нежданым и негаданным трофеем, улегся поудобнее и сунул ноги под плед. В руках у меня была упитанная, чуть потрепанная папка из бристольского картона. (В размашистом слове «ЦИСТЕРНА» две первые буквы выцвели и почти стерлись.)

Я заглянул внутрь и обнаружил множество листков с какими-то набросками, замечаниями, фразами. Все машинопись. Попадались и законченные куски, так сказать, отдельные номера — снабженные названиями и даже скрепленные...

Я принялся читать наугад, что попадет. Вскоре чтение захватило меня, я поднялся и сел к столу... В тот первый раз я просидел, копаясь в папке, до глубокой ночи...

Впрочем, не кажется ли вам, что наш антракт затянулся...

Занавес попрошу, занавес!..

В ПРЕДБАВНИКЕ

— Ну, чего? Еще разок? С веничком?

— Погоди ты... дай отдышаться... Больно горячо...

— Да разве это пар? Из трубы хера ли это за пар? Мокрый да вонючий...

— А тебе б в Ряю жить, да чтоб у святых ноги не повели...

— Вот в Ульяновской губернии, там они так не парятся...

— Какая тебе Ульяновская губерния? Балда ты огуречная... В Симбирской губернии... Это теперь она Ульяновская. Область...

— У меня вон дедушка восемьдесят шесть лет, а сам еще в баню ходит. И обязательно парится...

— Это и у меня дедушка ходил. Восемьдесят девять было...

— А что? Помер?

— Год уж ему... Так тихо, спокойно умер. Только вздохнул разок, и все... А день-то был, пенсию носили... Только он умер, минут пятнадцать почтальонка пенсию несет... Я-то уж в окно вижу, она идет. Она где чай выпьет, где кофий выпьет, где ей двадцать копеек за пенсию дадут, где что... Вот и шляется, долго не идет. И вот, гляжу, она идет, а он еще тепленький... А я его так на бочок положил. Так-то сделал, будто он спит. Она заходит. Я его за плечо подергал; «Дедушка, дедушка!» Он, будто, ничего... Говорю ей: «Может, вы без росписи выдадите?» — «Нет», — говорит. Такая вредная попалась. Ну, я еще его подергал: «Дедушка, дедушка, вставай!» Он — ничего... Я говорю: «Болеет он у нас... Может быть, дадите?» — «Нет», — говорит. Ну, что делать?.. Дернул я его еще разок. «Ах, ты, говорю, — ведь он умер...» — «Ах», — говорит. «Ну, ведь, — говорю, — он ведь только что умер». «Не могу, — говорит, — дать». — «Ну, — говорю, может, вас пять рублей устроит?» Пять рублей ее устроили...

— Да, как помрешь, так уж тебе ни пенсии не надо, ничего...

— А может, ему чего и надо, да ведь уж он не скажет тебе...

— Душа-то, ведь она куда-то деваается... Может, не в Рай и не в Ад, а все ж куда-то...

— Или вот еще толкуют, говорят: кто был раньше — яйцо али курица?.. Так ежели она, курица, будет, она сколько тебе яиц наладет?.. Или вот страус... У него яйцо — во! — с твою голову...

— Да, природа, она есть природа...

— А вот ты мне скажи, из чего комар создался? Он тут у уха пищит, пищит, так и лезет...

— Он пищит, по-своему визжит. Своих созывает.

— Да, каждый по-своему кричит. Бык по-своему, курица по-своему, и вон петух — по-своему... Пошли, что ли?

— Погоди, дай взвеситься... Это с какой же руки тут считать? Это что же у меня — девяносто?..

— У тебя-то девяносто?

— Известное дело — бараний вес...

— А он пол-литра выпил, вот тебе и полкило весу...

— Он у нас не пьет.

— Что ж он татарин, что ли?

— Это раньше татары не пили. Теперь жрут больше русских...

— А ты чего молчишь?

— Вон у нас татарин-то...

— Вино Пророк запретил, А он почему запретил? Он туда шел, видит, люди пьют, веселятся, песни... «Вот, — думает, — хорошо. Дети мои делом заняты». А обратно он шел, смотрит: кто где — кто в озере, кто в луже, кто на голове стоит... Безобразие такое. Он и запретил...

— У нас один в улице бросил пить, как цена на водку поднялась. «Все!» — говорит. Так и не пьет.

— А! Какая цена на нее ни будь, все хватают...

— За любую цену возьмут. Нас, дураков, еще угол непочатый...

— А есть, кто по здоровью не пьет...

— Есть чудаки...

— Это со мной случай был... Мы с училища летели, с Алма-Аты. Летим три курсанта... А там у них был пленум ЦК, ихней там компартии. Ну, летим втроем. Две бутылки коньяку тогда взяли да красного. Ребята впереди двое сели, а я сзади. А рядом со мной мужик у окошка. В костюме. Ну, взлетели... Я стюардессу — раз: «Тащи четыре стакана». А он тут сидит у окошка. Ну, я разливаю своим и ему: «Давай, мужик!» — «Нет, — говорит, — я не пью. Желудок, — говорит, — не позволяет...» — «Да брось ты, — говорю, чем заболел, тем и вылечишься». — «Нет», — говорит... И все... Ну, мы выпили, летим. А видимость так хорошая. Он все в окно глядит: «Ах, сколько земли пропадает...» — «Да брось ты, — говорю, — мужик! В союзе земли много...» — «Нет, — говорит, — это моя стихия». — «Ну, — говорю, — у меня другая стихия». Наливаю опять. «Ты лучше выпей». А он все: «Сколько земли пропадает».

— «Да брось ты, — говорю, — расстраиваться, мужик...» Я уж тут по плечу его хлопаю... «Давай выпьем!» Нет и все... Ну, тут мы уже обе их раздавили и красное... Ладно. Прилетаем в Москву. Гляжу, ему — особый трап. Он шляпу надел и в «Чайку»... У меня глаза на лоб полезли... Спрашиваю стюардессу: «Кто это мужик летел?» — «А, - говорит, — это министр сельского хозяйства всего союза». А я его по плечу...

— Это он, может, в самолете не пьет. А так-то дома, под икорку...

— А чего? Я тоже без закуски не пью...

— Налью тебе стакан, пить не будешь?

— Не буду.

— Ну, это ты скажи тому, кто не знает Фому, а я — дядя ему.

июль 1971

Стрелковый тир — ветхая деревянная избушка. Настолько ветхая, что кажется, будто из нее во все стороны должны вылетать пули.

На краской тряпке чуть вылинявший лозунг: «Наша цель — коммунизм!» Двусмысленность этого сочетания никто в городе не замечает.

Должность заведующего в этом тире — синекура.

Местный военком отдал ее спившемуся фронтовику, Герою Советского Союза. О его геройстве, впрочем, вспоминают лишь два раза в году — в День армии и в День Победы над немцами... А так за хромоту свою, привезенную вместе со звездой, он именуется Вася Дыль-дыль (дыляет, припадает на ногу).

Вокруг тира всегда вьются мальчишки и крутятся пьяницы. У Васи за прилавком можно спокойно выпить, у него есть стаканы...

А звездочку свою он никогда не снимает с потасканного черного пиджака, и она перекачует в конце концов, слегка видоизменившись, на его оцинкованное надгробие (за счет военкомата).

Ах, куда, куда ушло то времечко, когда Вася только что вернулся в родной город — со своей хромотой, со своей золотой звездой, с крашеной блондинкой женой — бывшей ППЖ начальника дивизии, — победитель Германии, оккупант с десятью чемоданами награбленного добра.

Сорокалитровый жбан протиснулся сквозь лазейку в заводском заборе, и рука с татуировкой (сердце, пронзенное стрелой, и надпись «За измену!») дотащила его до автобусной остановки... Там за него взяли сразу четыре руки, он взлетел и грохнулся на подножку, бывшее содержимое цистерны булькнуло Жбан закачался и затрясся мелкой дрожью — автобус покатило по бульвару.

Его швыряло и раскачивало — виражи и остановки, пока наконец рука «за измену» не подхватила его опять, и на этот раз он стукнулся дном об асфальт. Его снова поволокли, и он оставлял след на тротуаре...

Скрипнула дверь, и жбан, перевалившись через деревянный порожек, оказался в просторном сарае подле мотоцикла, загаженного курами. Здесь его на некоторое время оставили в покое.

Но вот дверь снова скрипнула. Рука «за измену» отстегнула крышку, и внутрь жбана с бульканьем погрузилась эмалированная кружка

Она погружалась четыре раза подряд, а на краю стоял в это время алюминиевый бидончик с привязанной крышечкой...

Зашелестели рубли, звякнула мелочь...

Рука «за измену» лишь наложила крышку — не заперла...

Скрип двери, и на краю примостилась стеклянная четверть...

Погружалась кружка, шелестели рубли, булькала жидкость...

И пошли, пошли все эти бидончики, скляночки, баночки, бутылочки...

Рука «за измену» уходила теперь внутрь почти по локоть...

Но когда кружка нырнула в жбан первый раз, в ответ слабому бульканью в сарае раздался сатанинский хохот — это раскудаhtалась черная курица, она только что подарила миру яйцо...

А таких жбанов только в тот, первый, день через дырку в заборе прошло целых семь штук...

Тут попадались и совсем чистые листы и такие, на которых все было перечеркнуто... Я до сих пор не понимаю — случайный или произвольный порядок царил в папке, когда она мне досталась. Кое-что говорит в пользу того предположения, а кое-что в пользу иного...

И вот пошли, начались мои вечера, когда я все это листал, перебирал, перечитывал... Словом, я и сам не заметил, как в руках у меня оказалось перо, и я принялся делать записи. За этими занятиями промелькнула у меня осень (дети заходили, кажется, в сентябре), прошла зима, а вот уже и весна на исходе...

И стал, я тогда же — осенью — вспоминать, стал думать, кому же могла принадлежать эта папка? И сразу же всплыл у меня в памяти незаметный такой человек, довольно молодой... Бегал тут все с какими-то авоськами... Жил, кажется, прямо подо мною, и щелкала у него по утрам своими копытцами пишущая машинка... Была у него тут жена или что-то вроде жены. Ну, она-то и сейчас тут, а вот он исчез, пропал. То ли сам он от нее сбежал, то ли она его выставила... И машинка давным-давно умолкла...

А потом у нее появился новый, белоглазый с «фиатом». Нет, он не совсем появился, он стал появляться — регулярно по вечерам... Но этот, второй, всякий раз выкатывается отсюда не позже одиннадцати. И, стало быть, дама наша переменяла не только сожителя, но и, так сказать, общественное положение.

Меня-то все это абсолютно не занимало, и вовсе я о них не думал, но папка, «Цистерна», приковала к ним мое внимание, вот что заставило меня исчислять подробности...

И вот припоминаю я, как мы ехали однажды с ним, с тем, с первым, в лифте... Минуты две-три стояли в тесной кабине, в противоестественной близости. И был он какой-то обросший и даже обтрепанный, как видно, возвращался из путешествии. Но я тогда не очень на него смотрел, меня больше заинтересовал его рюкзак — весь в ремешках, в пряжках и с какими-то даже металлическими конструкциями...

Теперь-то бы я глядел не на рюкзак...

НА ПАПЕРТИ

— Скоро уж откроют?

— Должно, скоро...

— Уж пошел отец-то Евгений.

— Да ты сядь, посиди...

— Что Клавдя-то в церкву не ходит?

— Хворает. Простыла, да все чишет, все чишет...

— Чишет? Так ведь это надо котовым хвостом.

— Хвостом?

— Бывало у нас как кто чихнет, бабушка сейчас спросит: «Кот-то дома ли?» Вот сюды прям в нос хвостом сует, да и приговаривает: чихота, чихота, иди на кота... С кота-то на дьякона, а с дьякона на всякого... И проходило.

— Вот ведь и хвораешь и все, а помирать-то не хочется.

— Кому охота?

— Да уж мне-то вон пора. Пожила.

— Вот тут бы в ограде и лечь. У меня отец тут, мать. Муж сорок второй год лежит... Уж я рядом-то лягу, хоть тут с ним поссорюсь... Ох, наподдам ему, ох, наподдам!..

— Да будет тебе!

— Чего говоришь-то?

— Уж он и затылок, поди, протер, лежавши...

— Чего, скажу, рано ушел? Не ходи рано! У тебя уж вон и кости сгнили, а я по сею пору тут маюсь... Наподдам!

— Чего ты выдумала? Чего выдумала? И в мыслях этого не держи!

— Нет, пока еще держу.

— Да... Хорошо, как сразу умрешь, в одночасье. А то вон как моя-то соседка... Хуже нет. Заболела раком, четыре с половиной года мучилась. И сестру замучила. Сестра-то раньше ее умерла. Тридцать восемь лет...

— Когда не помирать, все день терять...

— Тридцать-то восемь, это еще что... Вон у нас, в Бутырах, еще тридцати годов ей не было... Тоське-то. Дело, конечно, оно чужое. Май был, а муж-то ее у порога топор положил, припас. Да веничком вот так-то прикрыл. А девчонка маленькая и спроси: «Зачем, тятя, кладешь?» А он говорит: «Надо». А как стали дом-то запирасть, гулять идти, он тут-то ее и оглоушил. Топором. И ножом, ножом-то в грудь. А она только все: «Хватит... хватит...» И себе вот тут маленько на горле порезал. Дескать, драка, мол, у них была. Привезли их в больницу-то вместе. А потом его в тюрьму. Три года дали такого, что уж он и не вышел... А как Тоську с моргу брали, мать-то больно убивалась. Хошь она и не родная ей, мать-то, а уж больно убивалась. «Праздник, — говорит, — мы все выпиваем, а он только на стол поставит. Не пьет». Он трезвый это дело-то делал. Двое детей...

— А им — что дети, что не дети...

— А то я еще в девках была. До войны. Так-то под вечер с парнем шла. Идем рощей. Он мне

тогда и говорит: «Как у вас в деревне-то хорошо поют». Подошли мы, а это не поют — ревут, плачут. Дуню Горохову муж застрелил. От четверых детей. Разрывной пулей полоснул в живот. Милиционер был...

— Этого сколько хочешь. Вот и у нас в улице, на Чайковском прям все с ножевого завода. Кто с молотком, кто с топором. В угловом-то доме уж он жену бил, бил... Она и убегла хуш бы к соседям. Он — за ней. А они ему и не сказывают, что, мол, она у нас-то. Спряталась-то. А он возьми, да и подожги дом. Соседям. К окну опять подошел, да и говорит: «Горите». Они не верят. Он опять: «Горите». А они не верят. Так и спалил подчистую. Потом выплачивал...

— У нас в улице — все покойники. То девку схоронили, то женщина одна угорела...

— Вон у нас Ольга-то летось мужа схоронила. Я ее и спрашиваю. «Небось, жалеешь его?» — «А чего, — говорит, — мне его жалеть? Мало я с ним, говорит, — мучилась?.. Раз корову гнала, да под кустом его застала с одной... Уж я дойницей и была ее, ох и была... Так ведь он и не заступился за свою... А как взялся помирать, так говорю ему: «Василий, хоть бы ты извинился передо мной, да покайся...» — «Пошла ты, — говорит, — от меня на три буквы». И давай всех своих, прости, Господи, б... считать. Штук их одиннадцать. Вот с этой я еще, да вот с этой... Больно погано помирал... Я ему, дескать, что ты делаешь? Ты ведь отходишь, не сегодня завтра там будешь... А он смеется да считает их... «Покайся, — говорю, — покайся!» Ни за что не покайся... Так чего же, говорит, мне теперь его жалеть?..»

— Они, мужики, сейчас такие...

— Сейчас и бабы-то такие, прости, Господи...

— Кто как отходит. У меня вон папа в тридцать третьем году помер. Скоротечная чахотка у него получилась. Все приходили к нам золото искать, да револьвером у него под носом крутили. Пугали... Видно, оно со страху-то... Вот в канун смерти приходим мы все к нему прощаться. А уж он лежит вроде как без памяти. А мама тут охапку дров принесла да возле печки бросила, со стуком-то. Он как вскочит! С кровати ноги спустил... «Что это?» — «Это, — говорим, — папа, дрова...» — «Ох, — говорит, — зря вы это сделали. У нас уж была, — говорит, — вербовка. Кому сегодня помирать, те в правую сторону, а в левую, кто завтра в семь часов... Теперь мне, еще целую ночь мучиться». Так вот, поверишь ли, ровно семь часов бьет, а он помирает. Я говорю: «Папа, папа, ты помираешь?» Он только сказал: «Ну и что ж».

— У меня вон напротив бактисты живут. Они не нашей веры. Покойников своих в церкву не носят. Так-то сами попоют. И песни все такие чудные: спокойной ночи, брат... Да и зароят...

— А то еще в Москве, говорят, какая-то крематорь. Там покойников огнем жгут.

— Сожгут, как гнилое полено, нажрут, напьются, да и дело с концом...

— У нас тоже пьяных сколь хочешь. Вон отец-то Евгений, тот еще ничего. А Лонгин, ежели кто в церкви пьяный, он отпевать тебе не будет. Выйди и все...

— А вот соседка моя сюда к нам в церкву не ходит. В Никологоры ездит. Тут, говорит, поп ваш поляк и католик...

— Это Лонгин-то?

— Какой же он католик, когда он — благочинный?

— Теперь все перемешалось...

— Вот старые-то люди говорят, близок уж конец. Ох, близок... Все, дескать, совершится в

этой сотне...

— Уж какой нынче народ пошел... Один мат, одно вино... Я говорю, хоть на волю не выходи, чтоб не видеть этого народу...

— Да вот хоть и у меня зять с дочкой. Как к ним не придешь, телевизор ли, радиово, чего-нибудь у них да брямчит. Уж я говорю: неужто вы семь недель, постом-то не можете без этого Содому? Ничего не скажут. Только что выключат, пока я, значит, тут у их... И едят чего ни попадя. Хоть бы вы, говорю, мясо не ели. Хоть бы одно молоко. Ну хоть бы какое воздержание. А то ведь как скотина живете... Да еще и хуже...

— Теперь чего не жить? Махнул полой, да и стыд долой...

— Купят жабу за две, за три тыщи и глядят на нее...

— Нам еще отец-покойник, Царствие ему Небесное, говорил... Настанет, дескать, такое время, что из тьмы один мужчина будет верующий, а из тысячи одна женщина... Вот сейчас в городе-то пятьдесят ведь тысяч народу, а много ли нас в церкву-ту идет?..

— А и то сказать — одна церква на весь город... Раньше-то их вон сколько было...

— И эта-то как осталась удивительно... И то ведь разоряли ее.

— Да, вера им что нож острый...

— Мы раз так-то шли, монахиню хоронили... Идем за гробом улицей, Святый Боже поем... А навстречу председатель горсовета. Он как услышал, кричит: «Это что такое?

Прекратить! Замолчите!» А мы на него не глядим, идем себе да и поем... Так уж вот он разозлился — видит, ничего не сделаешь, повернулся, да и пошел обратно...

— Это им — что нож острый...

— Так-то сказывают, вольный свет будет существовать, пока три праведника останутся... И два останутся, все еще будет существовать. А когда один останется праведник, то уж на нем вольный свет не устоит. Погибнет вместе с грешным народом.

— Я так слышала, дескать, пока еще дети есть от венчанных матерей и пока поют Христос Воскресе...

— А вот говорят, ежели под Светлое Христово Воскресение в двенадцать часов прийти на кладбище, к родным-то могилам... А часы поставить по-церковному... Ровно в двенадцать часов приложи ухо к земле, к могиле, да и скажи: Христос Воскресе! И вот услышишь, какой гул пойдет под землей-то... Как мертвые-то тебе ответят: Воистину Воскресе!

— А то я еще слыхала, как идешь через кладбище, погостом...

— Погоди. Уж открывают?

— Открыли.

— Ну, поднимайся...

— Вставай.

— Пойдем с Господом.

— Ох, грехи наши...

— Господи Иисусе Христа, Царица Небесная, помилуй нас, грешных...

март 1971

Восемь часов вечера...

Еще совсем светло, а служба в церкви уже отошла, и на двух противоположных автобусных остановках тесными Группами толпятся, жмутся дружка к дружке прихожанки — аккуратные старушки, похожие на пингинов темные одеяния, белые платки прикрывают голову и грудь... Они сутулятся, переминаются с ноги на ногу, поворачиваются разом, как по команде, и не лицом только, а всей фигурой...

А мимо них азартные, как завсегдатаи ипподрома, с сумасшедшими огоньками в глазах, стучат каблуками девчонки. Им некогда ждать автобуса, они спешат, спешат на танцы, каждая рассчитывает на чудо, на главный билет, на сказочного принца, который подойдет к ней в толчее жалкой веранды под завывания и уханье механической музыки...

И вечер проходит за вечером, принца нет, нет выигрыша, а они все идут, идут наряженные, причесанные, покрашенные, стучат каблучками, распространяя запах дешевых духов...

В создавшейся ситуации меня занимает, конечно, не то, по какой причине этот мой бывший сосед ушел от жены (или она сама его выставила). Совершенно непонятно другое: как он мог оставить здесь эту папку?..

Ну, предположим, он отчаялся, отрекся, отказался от этого замысла... Тогда почему не порвал, не уничтожил, не сжег все, чему поклонялся? (Почему не поклонился тому, что сжигал?)

Такое нельзя просто забыть у бывшей сожительницы...

Он исчез, провалился, пропал... А сам — задним числом — вывел меня из моей спячки, разворошил сонный муравейник моей памяти...

Я давным-давно ни о чем таком уже не думал, и у меня было весьма твердое ощущение, скорее, впрочем, подсознательное, что к прошлому уже нет возврата, что все забыто, мертво, придавлено стопудовым камнем...

А вот — поди ж ты — кто-то до сих пор бродит по городищу, разглядывает руины, ворошит кости и тряпье...

Неужели мертвых с погоста носят?

А коли пытаться вспомнить все, все — с самого начала, по порядку?.. Боже, что за жалкая добыча!.. Черепки на пожарище... Нет, щепочки на поверхности черного омута...

Дымок... Только что погасли огоньки на рождественской елке, каждая свечка испускает тоненькую струйку одуряющего запаха...

Трамплин... Дух захватывающий бугорочек на ледяной горке у Чистых прудов, по ней летишь на саночках, зажмурившись от страха...

Фраза из какого-то глупого диктанта: «Дитяте маменька расчесывать головку купила частый гребешок».

Я, например, начисто не помню уже лица моей няни... Нет, не Матрены, а первой няни — кормилицы... И почему-то запомнил на всю жизнь один из первых в нашей квартире электрических выключателей — эдакую мордочку... Рычажок мне представлялся носом, а головки двух винтиков — круглыми глазками... Рычажок вверх, нос получался курносый — лицо славянское. Рычажок вниз лицо семитское...

А няня у меня была очень набожная и почти всякий день водила меня в какую-то свою церковь, как я понимаю, тайно от моих родителей.

И церковь эту я помню, и как мы входили в нее с улицы, и на вид она была очень темная и древняя, и был всегда полумрак, и были цветные огонечки лампад, и как все это было таинственно после светлого дня...

Мне, наверное, было года четыре, когда она взяла меня в первый раз на вынос Плащаницы. Я помню свечки, свечки в руках у всех, все лица возбуждены и каждое высвечено отдельно, и взоры все обращены в одну сторону...

Няня поднимает меня на руки, и теперь я вижу, как батюшка с седой бородой несет что-то разукрашенное на своей голове... И вокруг и сзади идут люди... И все почему-то плачут... Я вижу слезу, которая зигзагом катится по щеке рябой бабы...

И няня обещала взять меня к Светлой заутрене... И мама почему-то поморщилась, узнав об этом... И меня уложили спать и обещали разбудить, когда надо будет идти в церковь...

И, конечно, никто меня не разбудил, и я преспокойно проспал до ясного и солнечного Пасхального утра...

И я помню, как я плакал — долго, горько, безутешно... И как все окружили меня, как мне дарили игрушки и совали сласти... И я все не мог успокоиться... И после этого няня моя исчезла... Ее удалили, чтобы оградить меня от сомнительного влияния, чтобы, я не рос слишком впечатлительным и нервным...

Вспоминаю платье ее, белую косынку, а там, где лицо, — пустое место... Зато хорошо помню ее большую мягкую ладонь, которой она наклоняла мою голову в лад взлетающему по короткой дуге кадилу...

ПОНЕДЕЛЬНИК

— Раздевайтесь! Кому говорю, раздевайтесь!

— Да мы не сядем...

— Не отпущу, не отпущу, не отпущу! Это вам кафе — не забегаловка!

— По одной кружке...

— Ни по кружке, ни по полкружки! В пальто ни одного не обслужу!

— Вот ведь какая вредная... Люди на работу спешат...

— Перед работой и пить нечего.

— Подержи-ка пальто.

— Привет, блудные сыны!

— И ты уж здесь?

— Чердак болит — надо чего-то делать...

— Небось баба-то деньги на обед дала, а ты — на стакан...

— Тут тебе обед, тут тебе и завтрак.

— Пиво-то не больно хорошее.

— Вроде бы как подсолненное.

— Эх, вот я в Костроме был — там и пиво! И палатка на каждом шагу, прямо из цистерны дуют. И вино тут под видом пива, и бутерброды... Пивовар у них хороший — вкус в самую точку попадает. И пьяных-то у них не видать, не как у нас — валяются. Выпьешь за углом два стакана, да без закуски... Вот тебе и все. А там этого нет. Там чинно, благородно. Пару кружек да бутерброд...

— Еще по одной?

— Вали!

— Не опоздаем?

— Ничего не сделается...

— А вот я в Саратове летом был. Там тоже пиво — сколько хочешь. Приезжает прям в улицу железная бочка, как у нас квасом торгуют. И все валят — кто с ведром, кто со жбаном, кто с чем...

— Это что... Тут в шестьдесят третьем, кажись, году — морозы-то зимой были сильные. И вот у нас на межрайонной базе все красное вино — вермут там, портвейн — все замерзло. Да бутылки и полопались... Ну, чего?.. Списали все. А мужики, кто на базе работает, достали чан, развели костер и давай их греть прямо с осколками. Потом через решето процеживали... Тоже ведрами домой таскали...

— Вон у меня брат в ГАИ работает, рассказывал. В Чудинове на шоссе машина с водкой перевернулась... Все до одной бутылки побились... Ну, водка вся в канаву стекла и так-то лужей стала... Милиция еще только едет, а мужики чудиновские уже на четвереньках ползут... Ведь что думали?.. Тряпки в луже мочили и в ведра выжимали. Откуда-то у них тут и тряпки, и ведра сразу взялись... Еще милиция только едет, а уж они на четвереньках ползут...

— Привет.

— Трешь, мнешь, как живешь? Яйца катаешь, как поживаешь?

— Живем по-херовски, курим папироски...

— Раздевайтесь, так не отпущен!

— Давай пальто поддержи.

— Ты чего так пьешь?

— У меня баба заболела. Рот открыла, закрыть не может. Орет, орет... Совсем сбесилась.

— Ну, да. Вальс — плиз! Две коленки вверх, две вниз...

— Ты чего пьешь, не торопишься?

— Пускай мастер торопится. Мне — чего?

— Эх, работа...

— На той-то неделе мы хорошо работали. Четыре дня энергии не было. Асфальтовый завод, вторчермет, сельхозтехника — три предприятия стояли...

— Ну и чего?

— А ничего. Крановщик, видно, пьяный на машине ехал, да провод и оборвал. Они в тот же день его уделали, а потом три дня начальники спорили: ты плати! — нет, ты плати, нет, ты... Четыре дня. Акт не подписывали. А всего-то дела — надо было монтерам на литровку дать...

— Вот где смех, килограмм двадцать...

— Смех смехом, а она все кверху мехом.

— А ты — чего? На больничном был?

— В командировку ездил, елки зеленые...

— В Москве побывал...

— Да ни хера я ее не видел, Москву-ту!

— Пьяный был?

— И то бы лучше... Дачу одному уделывали...

— Дачу?

— Вот, елки зеленые, чего бывает. Вызывает меня мастер. Говорит: «Надо на несколько дней в Москву съездить».

— «Не могу, — говорю, — я сейчас крышу крою». — «Нет,

— говорит, — я больше такого человека не найду. Не подходит больше никто к этому делу...»

Ну и поехали. Начальник, мастер, шофер и я. На пульмане, ЗИЛ-150. Полный был загружен. Я после-то узнал. Нашей конторе плиты бетонные во как нужны. А этот, чья дача, он в Москве плитами заведует... Дескать, вы мне дачу уделайте, а я вам — плиты... Сам начальник конторы поехал, елки зеленые... Работал у меня — я как за бригадира был. Мы там все четверо вкалывали, будь здоров — по шестнадцать часов. У нас в пульмане — кольца бетонные, трубы, тес. Колодец ему вырыли, насос поставили, бочку для душа на три метра захерачили... Доволен, гад, был. Все рыбкой сушеной угощал, лещиками... Начальник-то с мастером пить боялись, а я — мне чего? Наливай! Чудеса, елки зеленые!

— Вот.

— Вот. Дали ему год, отсидел он двенадцать месяцев и вышел досрочно...

— Айда, ребята...

— А ты чего?

— Я еще посижу. Ничто им... Башка трещит...

— Здорово!

— Ты чего?

— Я ногу сломал...

— Вот елки зеленые!

— Если бы ты ногу сломал, ты б сейчас здесь не был.

— Пошли, ребята!

— Не, честно... Я, понимаешь, ногу сломал. С воза упал. Я сейчас в отпуске. В деревне, у матери. Дочку привез в интернат. У меня жена в девятый раз с ума сошла. Она у меня у тещи, у своей матери. Девчонка все понимает, двенадцатый год... Не хочет в интернат. Я тут близко над стеклянным магазином живу. Мне две комнаты от фабрики дали. Я сейчас в город от матери ехал, со мной кондукторша знакомая попалась. Моя первая любовь. В армию меня провожала. Плакала. Теперь замужем, двое детей. Денег с меня не взяла Я теперь сам не свой. С воза свалился, ногу сломал... Я там в совхозе подрабатываю. Я с вилами наверх залез, а тракторист дернул. Вот до сих пор все болит. К врачу надо идти. Я у матери утром курице голову оттяпал. Суп сегодня будет. Я сам — в отпуске. Жена у меня, понимаешь, в десятый раз с ума сошла... Слушай, парень, будь друг, купи мне пачку «Прибоя»? Спасибо, друг... А может, еще по одной выпьем?.. Не хочешь? Ну, не хочешь — как хочешь...

декабрь 1970

На бывшей Больничной улице между двух вполне благополучных и даже процветающих собратьев — справа каменный, слева бревенчатый — стоит черный старый деревянный дом. Передняя стена его завалилась назад, и от этого глазницы трех застекленных окон обращены в небо, как у покойника... В стеклах отражаются облака и синева. Крыша тоже осела, в самой середине конька получилась седловина. Дому как будто перебили хребет.

Здесь живет Вася Дыль-дыль.

Жена его давным-давно бросила...

Всюду дрова: поленья, кряжи, бревна — вдоль заборов и под навесами, в кучах и штабелями... Их пилят ручными и мотоциклетными пилами, колют — кха! — топорами, швыряют, таскают, складывают в поленицы.

Кажется, поднеси спичку к любому месту — и спалишь до тла весь городишко...

Еще одна летняя примета — везде ремонт, стройка. Кроют заново и красят крыши, подрубают углы, пристраивают новые верандочки и коридоры, подводят кирпичные фундаменты...

И по ночам на спящих улочках урчат грузовики с погашенными фарами подвозят и сбрасывают ворованное: доски, шифер, кирпич, тес...

Сегодня ехал в лифте с этой нижней соседкой, с его бывшей мадам... Нет-нет, ничего... И размер подходящий — мой размер... Пардон, бывший мой...

В глазах только, пожалуй, есть что-то несытое... А так оно все очень ладно устроено. Подобные агрегаты ни в коем случае не должны простаивать...

Пожалуй, изюминки все же нет... Стреляться из-за нее не станешь...

Новый, белоглазый во всяком случае не застрелится...

Первые-то год-полтора после моего выселения я часто убегал в Москву, мне тогда еще казалось, что ностальгия — лишь пространственная болезнь... И бродил я по Москве, по тогдашним еще ее остаткам, по бульварам, по Покровке, по Маросейке, даже по Ильинке и по Никольской... Я, собственно, избегал только Лубянку да наш переулок, свой дом...

Впрочем, домой-то я сунулся один раз, через год, наверное, после изгнания... Боже, там все уже было выкрашено в полицейский желтый цвет, там у нашего подъезда дремал табун лимузинов, там появились стеклянные двери и вывеска с нечеловеческим синтаксисом... Там за этими дверями сидел пожилой цербер с рожей, не оставляющей сомнения, какого он и все это место ведомства... Там в вестибюле висели светильники и расстилались дорожки, там сновали белоглазые самцы в очках и девки в брюках...

Ах, бежать отсюда, скорей бежать! Пропадай все пропадом!

Прости-прощай шмидтовский буфет! Душу бы отпустили на покаяние!..

А у нас на лестнице и раньше были ковры, галошная стойка была, будка для телефона (номер до самой смерти не забуду: 16–88), доска была — звонки во все квартиры, зеркало было, аквариум был, чучело было — медведь с подносом, швейцар был, галуны были...

Будка, телефонная будка всех пережила, в ней потом дворники свои метлы хранили... И зеркало — уже и амальгама вся потрескалась — оно все еще было...

Разбили его в последний мой московский год. Под Пасху, в самую ночь... Зашел, верно, в подъезд за нуждою какой-нибудь пьяненький гегсмонстр, заглянул в стекло и ужаснулся от несоответствия облика своего с Праздником...

Утром на полу валялись осколки, а в пустой раме, на дне, обнаружили старые газеты, когда-то подклеенные под стекло.

«Русские ведомости», четверг, 30 ноября 1895 года.

«Потомственный почетный гражданин Иван Васильевич Иокиш волею Божию скончался. Поминовение имеет быть при фабрике Иокиш в Михалкове».

ПРОГУЛКА ПО ГОРОДУ

— Вы меня простите, что я вас все время перебиваю. Мне и бабушка говорит: «Все-то ты, старый, перебьешь». Да только у меня все так-то получается... Я сейчас живу сильно тяжело. И, главное дело, вокруг меня людей нет... Вина я не пью, сплетнями не интересуюсь. Они старухе говорят «Он у тебя юродивый, вроде бы падаль...» Я только что хочу сказать, когда я строился, этих всех домов не было. У нас в улице один порядок был, а вот здесь — усадьбы... Мне место выбирал латыш-садовник Карл Иванович Гайлис. Он у Сенькова-фабриканта работал. Мы с ним место выбирали, чтобы бугор и низина была. Теплицу хотели делать... Я ведь в одно лето — в осень одну выстроился... Вот этот-то дом каменный... Тут сильно умный мужик живет. Работал шофером на Севере, каждое лето в

отпуск сюда приезжал — все заготовливал, кирпич, лес... А как все заготовил, так и совсем сюда перебрался... У него вот тут деревянный домишка стоял. Хороший тоже был домишка... Дедушков... Я вам только что хочу сказать, ведь городишка наш, с детства помню, был маленький. Совсем маленький. Главная-то улица была Шоссейная. После — Благовещенская, шла к собору. Потом Попова улица, Масляная, Песочная... Была Засерина улица, теперь — Красная. Потом гора была Барская. Теперь Трудовая гора... Наверху-то дом Рюминских. Я его еще покупал, этот-то дом. Там на усадьбе яма круглая. Сказывают, была долговая тюрьма. Купил бы я тогда, пол-ямы были бы мои... Народ-то у нас больно дикий. Я помню, копали они там по Больничной улице узкие канавки. А там ведь шла Владимирка. И нашли кандалы. Я пришел, говорю: где же эти кандалы? А, говорят, в палисадник кинули. Никому ведь не надо. Больница при мне строилась. Город строил, управа. Доска была большая, все было указано: кто строил, когда. Потом товарищи все буквы сбили, потому что все это сильно вредно... Там город-то и кончался. Смычка была. Дальше кладбище, церковь Здвиженс-кая. На Здвиженье там репу торговали. Репная ярмарка. Репа белая, розовая. Так поштучно и в кадках. А еще бывал у нас Вонючий базар, около собора. Это в начале Великого Поста. Бухмой торговали. Бухма, она как репа, только большая... Вывозили ее пареную, горячую в кадушках. И лоскутными одеялами накрыта. Одеяло поднимут, и — вонь! А все покупали да ели. Продавали деревянными блюдечками с толстыми краями... У собора тоже кладбище было. Мне один говорил, там только попов хоронили. И верно — там три попа было. А при старом при зимнем соборе-то было большое кладбище. Помню товарищи все интересовались, грунт там какой. Яму вырыли квадратом между летней и зимней. И всюду были гроба. Я себе тогда один облюбовал колода, но не круглая — квадратная. Вытащили мы его, на подсанки и в музей. Не знаю уж, цел ли он, я давно уж в музее не бываю... Вот этот дом был поповский, Покровской церкви, креп-кий дом. Здесь забор был весь каменный... Это вот кладбище, самое старое кладбище... Тут и тесть мой, и отец похоронены... Тут вот склеп был — генерал Неронов, предводи-тель дворянства. В корсете ходил, а жена у него была восемнадцать лет. Здесь справа чугунная была часовня. Богашов. Я все дивлюсь, как они ее скovyрнули. Уж больно велика была. Тут Сеньковский склеп. Вот тут начальница гимназии Гидройц-Юраго. А вот тут против Алтаря была могила священник острожной церкви отец Михаил. Крестил меня когда-то... Тут опять Сеньковские могилы... А вот тут делопроизводитель Иван Евлампиевич Протасьев. У него первый в городе трехколесный мотоцикл был. Мотор в дифере. Жена у него была красавица Дуня. Из его крестьян. Я еще мальчишкой был, у меня на улице отняли нитки и змей. Я пошел к нему жаловаться, а он мне двад-цать копеек дал на нитки. У него в Татарове фабрика была. Я же потом ее с товарищами разорять ездил. Больно уж он девочек любил. Все ладони им щекотал пальчиком при здорованьи. Козочками называл... Мотоцикл он потом забросил, купил автомобиль с паровым котлом. Помню, во Владимир уедет на автомобиле, а уж обратно на паровозе... А теперь вот и могилы не найдешь... Ведь что делали?.. Я вот своим, тестю с тещей три раза крест ставил, три раза крали... Последний раз уж принесли мне, купил с Введенской церкви. Загляденье — а не крест! Я к нему трубу наварил, до самого гроба, верно, труба прошла Стацили! Я старухе говорю: хорони меня без музыки и без попов. Музыка — это только слюни в трубу пускают, и все только за деньги. И попы — тоже деньги... Мне этого не надо. Раньше-то оно не так было, а теперь вот угасло. Округа такая вся опачканная. И мне-то в этой округе чистым не пройти. Хоть рукавом, а все задену... Улица раньше эта так Кладбищенская и была. Асфальт тут недавно. Раньше булыжник был. Я вот так-то иду раз с горки, слышу — на кладбище шум. Гляжу, расколачивают нероновский склеп. Богашовскую часовню уж свалили и чугун весь расколотили. А потом давай кувалдами памятники бить. Ведь это остались только те, что не поддались... А так в щебень все искрошили и на дорогу таскают. Перед асфальтом-то булыжник перебирали и добавили этот щебень. А уж асфальтировали потом... Вот тут пониже Маштаков дом был. Он сюда льянную пыль в кулях все возил. Трясли ее и жваки да очески выбирали. Потом опять в кули и — на железную дорогу, буксы набивать. «У меня, — бывало, говорит, концевая фабрика. Я, — говорит, — на казну работаю». Тут такие-то фабриканты были. Лапин был такой из Денисова. У него лисья шуба была Он, как едет, у него всегда пола отвернута, чтобы мех видать... А у

самого в фабрике труба к березе была привязана... Вот тут на шоссе у монастыря часовня была. Икона, я помню, риза богатая... И так вот кружка. Зимой мальчишки деньги оттуда таскали. В мороз мокрую нитку опустят в щелку, монета примерзнет, они и тянут... А напротив портнихи жили — Разгуляевы, высоченные бабы... Это собор монастырский был. Староста тут — Иван Михайлович Кашников состоял, а священник отец Алексей Гусев. Отец Алексей, помню, интересно служил. Начинает шепотом, шепотом. Громче, громче, потом рявкнет, и как отрежет. Долго ничего не слышать. Потом шепотом, шепотом — и снова как рявкнет! И вот так-то головой тряс... Вон там на горе кустарь жил, Роганов. Он пилы-напильники насекал. Помню, три копейки за дюйм. Не здешний был, приехал сюда какими-то случайностями... И ведь, бывало, насекает — даже не глядит. Курит, шутит... А вот калил потом всегда один, сам. Секрет у него был. Так никому и не сказал, даже сыну... И клетушка у него была такая маленькая. Я его пилы ни на какие не променяю. У меня и по сею пору осталось две штуки. А так-то весь хороший инструмент у меня товарищи в войну взяли... Я потом узнавал, как меня выпустили: кто взял, куда делось? Неизвестно. Они не стеснялись. Помню, еще у отца мастерская была, пришли к нам с обыском. Будем, говорят, искать у вас оружие. Искали, искали, а у нас мотоциклетные цепи были новые. Цепи взяли и ушли. А потом мне один сказывал из ГПУ: «Нам цепи-то и нужны были, никакого оружия. Нам только говорили, что у вас цепи есть мотоциклетные». Так вот. Вот этот-то дом угловой Сеньков своей любовнице строил. Он всех своих любовниц обеспечивал. Тоже чудной был. Если, к примеру, в управу приедет и ему в уборную захочется, он едет домой — тут он не сядет. И за телефонную трубку ни за что не брался. Мне Карл Иваныч Гайлис рассказывал, клумбы он в саду любил расковыривать. Чуть что не по нем, он в сад и расковыривает клумбы. А назавтра чтоб все по-старому. Ну, уж они это знали, у них всегда в ящиках были запасные цветы... И в оранжерее персики тростью считал. Все равно сам ни одного не съест, все им достанет-ся. А придет — считает... Уж потом видал я его, идет, калоши к ботинкам бечевкой привязаны. Да... Вот Демидовский дом. Фабрикант тоже богатейший. Староверы... В революцию тут матросы жили. Я к ним ходил гречневую кашу есть. Печь они мебелью топили. Раз пришел, а из печки ножки только торчат от хорошего стола. А матрос один на кровати лежит и из нагана в потолок дует. Только пыль летит... А каша у них хороша была. Я туда долго ходил... Это — Штанин дом. Тут у него была казенка. Вином торговали. Вот эти ворота, столбы-то красные были — об них все сургуч оббивали и прям пили тут. А рядом — вот уж не помню — мужик ли, баба ли с лотком — закуской торговали... Тут трактир был — между Цепелевым и Беговым. Потом усадьба Матре-нинского. Вот мой-то отец пол-усадьбы у него купил с той стороны, сзади. Ведь как оно было. Дедушка наш сюда приезжий был. Винокур. Приехал на винокурный завод. Там, где теперь скотобойня. Там дом был, недалеко... А в подвале у него мастерская. Чинили старые пожарные машины, самовары. Дедушка крестики лил, иконки под старину. С этого и начали. Станишка был токарный плохонький. Руками крутили. Купили деревянную сараюшечку. Потом бревенчатую. Сначала по сорок килограмм лили. Потом по шестьдесят. Сначала на древесном угле. Потом на коксе. Кокса нет на антраците. Потом на мазуте да на нефти... Нефтью-то все и закончилось. А всего-то работали отец да мы — братья. Шестеро нас было. Как тут нас раскулачишь? Своя семья. А все равно задавили. Только что не оскорбляли. Ни разу никто буржуями не назвал... А задавили. Налогами. До того уж обложили, что не стало ничего хватать. У вас, говорят, еще должны быть частные дела, крестьянские... Ну, и пришлось нам тут волей-неволей кончать... Я ведь только что хочу сказать. Ведь это плохо, коли мой сын не знает, как мой дедушка жил. Не годится это. А дедушка у меня чудной был. Запойный и в Бога сильно веровал. Иконы были, свечи, лампы горели... А сосед был там, где скотобойня, сапожник Антипов, тот был безбожник. Вот сойдутся они, книги разложат и спорят. Один божник, другой безбожник. А потом уж гляжу, оба плачут — Богу молятся. Дедушка чудил много. Достаток был. Вот, помню, запил он. Глядим, во дворе в самой грязи лежит, только торчит борода. Подняли его, в дом внесли. Вымыли, уложили на кровать. А он опять в окно вылез, да и в борозде лег. И помирал чудно. Вот раз говорит: «Помираю». Ну, попы тут с маслом явились — любили его. Соборовали, все, а он и не помер. И другой-то раз так же... А на третий раз, помню, мать мне говорит: «Санька, пойдти к дедушке, помирает ведь». Ну, я тогда шел гулять, думаю, успею. Домой пришел

поздно — в молодые-то годы. А мне и говорят: «Санька, а дедушка-то помер». Тут уж по-настоящему, без чудес... Вон там у нас богадельня была. Я еще помню, мы с отцом ходили сюда святить куличи. Тут прямо в комнате одной церковка была, а народу всегда полно. А тут вот колокольня. Колокол у них был прямо бешеный. Везде его слышать!.. Здесь дядя мой жил. Самовары никелировал. Дело было хитрое, динамку рукой крутили. Бывает, самовар с одной стороны блестит, а в одном месте почернеет. А жена сбоку лезет: «Еня, а этого не подложить?» — «Да иди ты!» Она опять: «Еня, а вот этого?» До того доведет, что он самовар в окно, да ногами весь истопчет. А после хозяину новый покупает... Вот тут англичанин был какой-то, Франц Федорович Кубик... И Клязьма ведь раньше не тут, дальше текла. Где теперь течет, тут огороды были Кокина и Березина, капуста и огурцы... Вот здесь Дикушин был, мануфактура... Когда их раскулачили, все свезли по лавкам торговать. Помню, часы Дикушина продавали. И просили недорого. Купить, думаю... А как он ко мне придет да и увидит? Нет, думаю, не надо они мне... Вот тут наверху был Николаев — трактир. Беззубый был старик, вот такая борода... А если его кто дедушкой назовет, он прямо с лестницы спустит, втолчки... Здесь потом все собирались первые большевики. Биллиард там у них стоял еще от трактира... Было тут два постоянных двора Рукавичников и Березин... На углу — чайная Шульпина Михал Федорыча. Чай, пиво тут тебе не один сорт. В кухне тебе что закажешь — сделают. Была вот тут какая компания. Отец мой, Василий Семенович Булатов — бондарь, Тимофеев — извозчик, Маштаков Егор Филипыч — это концевая-то фабрика, что на казну работал, и Лбов Василий Михалыч... Они уж каждый день сидели, стол у них был специальный. Бывало, Маштаков придет к нам в мастерскую, молча постоит в дверях. «Ну, — говорит, — я пошел». Повернется и пойдет. Отец одевается и за ним... Только воротится, а тут Булатов: «Сергей Михалыч, у меня только гривенник, пойдем пропьем». И опять отец идет. Ну, уж вино не пили. У них только чай, булка, колбаса, сливки, лимон... Ну, селянки тут разные. Тут уж поди, к гривеннику-то рубли прибавляются... А встают из-за стола, половой денег не спросит. Встали — пошли. Люди известные... Тут-то вот не так давно ко мне приходит один, да и рубль кажет этот металлический с Лениным. Видал, говорит, монета? Ну и что, говорю, твоя монета? Полкило луку... В этом доме один чудак жил. Портной Орлов. Сидит у окна, потом откроет окно, по пояс высунется, пропоет петухом и опять закроет... А раз в церковь к Кресту спорок с шубы принес. Положил и все... Тут были у нас известные люди. Монах был один юродивый — Антип Гнет. В Крещение в фонтан залезал. Егошка Хитрый, Мишка Чирьев... Его спросят, бывало: «Минька, а ты в Бога-то веришь ли?» «А как же, — говорит, — я ведь с Христом в одной кузнице работал». Ну а главный чудак был у нас Сикерин, парикмахер. У этого с японской войны все Георгиевские кресты были... Вот, бывало, наточит бритву, у него клиент сидит, а он свою принадлежность на стол положит и пробует, остра ли бритва... Раз пьяный попал в полицию. Утром жену туда зовет. «Настя, Настя, принеси мне все медали». Она ему принесла, он надел и говорит: «Без музыки домой не пойду». Так ведь и шел с музыкой... Раз намылил одному лицо. Только собрался брить, а тут ко всеобщей ударили. Он бритву кладет. «Настя, Настя, я пошел...» — «Ты хоть человека добрей!» Куда там... «Уж звонят, — говорит, — я пошел...» А часовня эта, где мясом-то торгуют, еще от собора осталась. Снесли его в тридцать втором... Это все я сильно хорошо запомнил. Первое дело — колокола. Привезли они домкраты, лебедки, тали... Первый-то колокол большой, кажется, лебедкой стащили его. Я тут был. Вон стоял около молочной-то лавки. Как же мне тут не быть? Он как ударил в землю, тут двойные двери внизу были — настезь они открылись. Вот на том-то доме труба кирпичная упала. Помню, у них один колокол об другой стукнулся. Так вот только по такому кусочку отскочило... Ну, потом привезли из литейной шар с бревном, с блоком, чтоб колоть их да в машину грузить... А вот тут, помню, розвальни стояли, на них все ризы с икон складывали да возили в музей. Слесарь знакомый мне говорил, его нанимали резать их, ризы-то. Потом в комнату заперли да обыскали, не взял ли камешков... И тут уж в соборе все иконы без риз стали, и склад там сделали — рожь, масло, пустая посуда. Я тогда на хлебзаводе подрабатывал. За кусок. Раз, помню, нам понадобились шесты для лопат. Нет лопат, да и только! Пошли прямо в собор, взяли шесты с хоругвей... А раз днем захожу я, паникадила уж не было, вижу, стоит в левой стороне собора один в пальто и в шапке. Видать, мастер. Стоит и смотрит. Я потом-то с ним

подружился — Василий Рафаилович Уваров. А тут уж смотрю, они и бочки навезли, и соляную кислоту в бутылках. Золото с иконостаса смывать. Он в ГПУ тогда работал, а у самого в мирное время была иконостасная мастерская... Жена у него была крупная женщина, сам-то он маленький. Татьяна Александровна звали... Я к ним все чай ходил пить с булками. Ему ведь в ГПУ и хлеб, и молоко, и разные пряники, все у него было... Раз, помню, его жена смеется, мне говорит: «А ты думаешь, он в Бога не верует? Сам иконостасы смывает, а сам верует. Вон у него иконка-то, молится». И верно, смотрю, висит у него медальон под цвет обоев, и не заметишь. Так вот он кислотой все смывал, потом эту грязь в бочки и отправлял в Москву. Один из ГПУ, помню, спрашивает: «Василий Рафаилыч, много ли смыл?» А он только и сказал: «На трактор, — говорит, — хватит». Зима была, в соборе-то холодно. Я ему еще сделал, тогда водогрейку, трубу в окно. А чтоб труба поплотней к дыре, венец с Николы мы сняли да и приладили... Он после нас в Кронштадт поехал, смывал там. Письма мне писал оттуда... Да, потом ломали иконостас. Он у нас был высокий... Помню, оторвали его, он так-то выпятился и рухнул... Колонны уж сильно красивые были, витые. Две в музей взяли, две в театр. Врата Царские я отвез на подсанках в музей... Ангелы были с репидами да Евангелисты — фигуры в человеческий рост. Теперь все пропало. И вот стали они собор бурить бурили дырки в стакан диаметром вокруг всего собора... Потом заложили взрывчатку... Я вон там стоял, около речки. Как рванули, так вот я сам видел, он весь приподнялся. Может, с полметра просвет был, и опять сел на место. Я правду говорю. Ну, они тут второй раз бурили и опять рвали... На второй раз он развалился крупными кусками. Тут стали разбивать — кому чего понадобится. Часть камней помельче — в речку, а часть — вымостили тротуар... А фундамент был сложен у него из булыжника на глине... Потом за колокольню взялись... Хотели подбить да повалить. И до того ее додолбили, что подойти к ней страшно... Потом уж приехали солдаты, что-то положили она и повалилась... Ну, тут мы на нее набросились... Нам железо было надо. Я только что хочу сказать, я вот сейчас вернусь еще раньше. Помню, в семнадцатом году тут вот на площади был какой-то митинг... А я глядел с колокольни, и еще один. Кузнец такой был из поляков, Нарушевич. Он мне тогда, помню, и говорит: «Эх, до чего же тут колокола хороши, сколько всего понаделать из них можно...» А пришло плохое время — ни жрать нет, ни дров, пошел он с салазками за Клязьму, за хворостом. Да и попал в полынью прямо с салазками... Так и не нашли его. Вот и суди, как хочешь... Из этих-то, кто собор-то ломал, — ни один человеческой смертью не умер. Один в Иванове ослеп, Карлов, начальник милиции. Другой под поезд попал, кишки на колесо намотались... Я вам только что хочу сказать. Я теперь в твердом убеждении, что от таких слов, как — Бога нет, — надо отказаться. Что это значит — Его нет? Это что, как колбасы, что ли? Раньше она была в лавках, а теперь нет?.. Эх, и колбаса ведь была! Вон дом-то — Иван Александрович Александров, колбасник. Раньше, бывало, постучал к нему хоть в десять часов. Только спросит: «Чего тебе?» — «Иван Александрович, мне бы фунтик колбаски...» — «Какой тебе?» И сейчас он вынесет. Рабочие у него были, а торговал всегда сам. Рябой он был, а румяный... Теперь давай туда перейдем, там мой автобус останавливается... Раньше-то я к себе на гору бегом бежал. А сейчас уж не могу — ноги не идут... Я ведь раньше какой здоровый был. Картошку, помню, три раза жарили — не раскусишь ее. Так я ее целиком глотал, слышать, как она идет. Я ведь вот на что дивлюсь. Был у меня один ученик, токарь. Потом пошел в армию. Из армии в коммунисты. Потом в механики. А потом уж кричать на меня стал: «Я тебе денег платить не буду!..» Вот если бы я посмотрел на такие ихние заслуги... Вот бы мне рассказали, есть, дескать, остров такой в океане, там лес и все такое, и все коммунисты туда поехали, и живут там вторую сотню лет и свой хлеб едят. Вот это были бы заслуги. А то ведь нет этого. Раз, помню, на Пасху был я у отца-покойника и разговорился с двоюродным братом. Он мне и говорит: «Мы теперь все построим и все сделаем». А я ему: «Ничего ты не сделаешь». «Как не сделаем? А вот мы уже сколько построили...» А я ему: «Ну, и что вы сделали? Ты только кирпичи сложил. Ну, даже ты его, кирпич, этот обжег. А глину ты сделал? А воду — ты? А огонь ты сделал? Вот и выходит, что ничего вы не сделали, ничего не построили...» Я на одном стою: я — ничто. Надо знать, что ты — ничто, а тобой кто-то руководит. И руководитель этот с тобой в любой момент что захочет, то и сделает. Человек — ничто, вся мудрость его, все затеи — все ничто... Вот они

запустили грузовик за щебнем на Луну... И это еще не чудо, что американец на Луну залетел да там прошелся. Это еще не фокус! Вот был я на похоронах, вот бы спросить покойницу: как тебе там? Не жмет ли чего?.. А она б ответила. Вот это было б да!.. Так ведь не ответит она тебе... Я только на одном стою: пока есть мое «Я», а придет время, и эта буква задвинется в самое последнее место... Вот он, мой и автобус... Вот давеча они по радио передавали про стройку одну. Хвастались. Там, дескать, все нации работают — и русские, и мордва, и татары... Так это они что же, Вавилонскую что ли башню строят?.. Я только на что дивлюсь... Нам все дано: и фабрику строить, и атом, а только нет у нас мирной жизни. Все у нас какое-то подвижное, никак не установится... Надо, чтоб все твердое было. Ну, плохо — так хоть плохо. Все должно быть неподвижно... А если оно с места на место передвигается, значит, оно непостоянное... Все было... Были керосиновые фонари... Фонарщик с лестницей, с ежиком, с керосином... Стекла чистил, керосин добавлял... Все ушло... Была булыжная мостовая, был гром тарантасов непрерывный... Сейчас, сейчас — сяду, полезу... И сколько я всего знал, сколько вот этими руками сделал... И никто у меня ничего не взял... Мне не жалко своих годов, мне жалко время, когда я жил... Сажусь, сажусь... Сел уже... Я только одно знаю: корова не жеребится, а кобыла не телится...

декабрь 1970

Магазин Шанкс Мужская элегантность, Михайлов Меха, фотография Паоло (Свищов), Кадэ преемник Трамблэ, Альшванг, Американская обувь Вера, Художественный магазин Дациаро, Мануфактура Лямина, Павел Бурэ, Выставочный зал Питореска, Аванцо, Лионский кредит, Куличная Бартельса, Жирардовская мануфактура Солодовниковский пассаж, Ювелирный Лорка, Жемчуга Кепта, Мюр и Мюрелиз, Шляпный Вандрага, Кодак, Филиппов, Булочная Савостьянова, Булочная Чуева, Кондитерская Сиу, Кондитерская Эйнем, Иванов Кондитерский магазин, Вульф Хаимович Тобсрман Старина и роскошь, Кафе Рэтарэ, Химчистка Кутюрье, Бликген и Робинсон, Аптека общества русских врачей, Галантерейный магазин Советова, Белов Гастрономия, Абрамсон Корсеты и лифчики, Треугольник галоши, Аптекарский магазин Брунс, Корсеты магазин Сан-Раваль (вне конкуренции!), Чичкин, Чичкин, Братья Бландовы, Булочная Алексеева, Триндин Техника микроскопы, Карпгашов и Миляев Мануфактурный, Кондитерская Копырина, Перлов Чай и сахар, Пло, Густав Лист, Бромлей, Роберт Кенте, Сосиски, ветчина, копчености Можейко, Мозин Мясная лавка, Книжный магазин Финогенова, Соленья Головкина, Охотный ряд, Сам ловил, сам солил, сам продаю, Трактир Лондон, Лоскутная гостиница, трактир Тестова, Кафе Филиппова, Гостиница Комиссарова, Библиотека Рассохина, Трактир Егорова, Кафе Домино, Аптека Сем. Бас. Шера, Тверской пассаж, Кафе Алатр, Гостиница Дрезден, Кондитерский Абрикосовых, Гостиница Аюкс, Синсма Ша Нуар, Музей-паноптикум Абрамович — по пятницам вход только для женщин...

Ах, все профурыкали, все пропили, все проели — в тестовском трактире, в Праге, у Яра, в Стрельне — суп из бычачьих хвостов, по утру проснувшись...

Мать со своими примерками, отец в пенсне со своим «Русским словом», Дорошевича читали, по Льву Толстому скорбели, Керенскому аплодировали...

А больше всего боялись угореть...

Эх, дурачье, дурачье, не дров надо было страшиться, не голубых огоньков в печке, а того, кто эти дрова пилил, колол, приносил в охапке, вваливаясь с мороза в квартиру и топя сапогами...

Была у моей матушки заветная мечта — шмидтовская столовая: дубовый буфет, такой же стол, дюжина стульев и прочее, словом, точь-в-точь, как у ее сестры Лели, чей муж был

богатый домовладелец и тоже присяжный, как мой отец. И вот мечта осуществилась...

Буфет был весь украшен замысловатой резьбой, по размерам же напоминал орган в соборе немецкого городка и вполне мог быть пригоден для большой узловой станции вроде Синельникова или Розовой... Водворение буфета в нашу квартиру по своей грандиозности, пожалуй, даже превосходило установление Александрийскою столпа или Фальконстова монумента.

Мог ли я думать, я, худенький гимназистик, приготовишка, когда смотрел, как ломовые с нечеловеческим трудом перли его по лестнице и двигали по квартире, переругиваясь натужными головами — Заноси его, заноси! — Куда, куда? Назад давай! — На попа его ставь, на попа! — мог ли я думать, что наступит день, когда от всей нашей семьи останемся только он да я...

Когда меня выдворяли из Москвы, в дни драматического моего с буфетом вечного расставания я нашел в одном из его ящиков пять серебряных колец с выгравированными именами — Папа, Мама, сестра, брат и я — было пять приборов, пять крахмальных салфеток на скатерти...

А все остальное столовое серебро ушло когда-то в Торгсин вместе с отцовским портсигаром и часами, вместе с кольцами и сережками моей матери...

С годами я привык к буфету и теперь даже не мог бы с точностью сказать, с какого времени мы стали с ним жить в одной комнате, в нашей бывшей столовой, вернее, в отгороженной ее части.

Первый раз нас уплотнили в восемнадцатом году, и в мамину спальню въехал со всем семейством дворник Степан. Тут только и выяснилось, что кроме своих — Прощения просим — и - Покорно благодарим — он знает еще некоторые слова и целые выражения из тех, что обыкновенно не включаются в печатные лексиконы. И сапогами он теперь топал, не смущаясь, а, наоборот, с некоторой гордостью за такую решительную свою походку и как бы беря реванш за годы унижения, когда ему приходилось передвигаться по нашему коридору на цыпочках.

К Степану вскоре приехала из деревни сестра с мужем и с детьми. Они поселились в комнате моего брата...

Приходило домоуправление, вышла замуж моя сестра, увезли как-то ночью брата на угол Лубянки и Фуркасовского, умер отец, а через год мама... И вот остались из прежних жильцов лишь мы с буфетом да Матрена в своей каморке при кухне. Потом я схоронил и Матрену...

А столовая у нас раньше была проходная, и вот как-то в очередной раз пришло домоуправление, и они поставили перегородку с дверью, так что задняя часть комнаты отошла к коридору... Никому, даже мне, тогда и в голову не пришло, что через узкую эту новую дверь шмидтовский буфет уже не вынесешь, что его, в сущности, замуровали заживо, как бочонок Амотильядо...

Нет, мы с ним неплохо прожили это время. Помещалась в него чертова уйма — не говоря уже об остатках посуды: все эти разрозненные рюмки, стопки, бокалы, графины и графинчики, кузнецовские чашки, тарелки, блюда, супницы, — но и семейные фотографии в папках и в златообрезанных аляповатых альбомах, все старые ненужные бумаги, переписка моих родителей до женитьбы, картонные коробочки с мелочами, с пуговицами, фуляры, старые лорнеты, отцовские пенсне, запонки, манжеты, булавки, подсвечники, бритвенные приборы, старые кожаные рамочки, разрозненные номера «Нивы» и «Сатирикона», совершенно невероятные книги и еще невесть какой хлам...

И когда пришлось в конце концов вытащить, вытряхнуть из него все это, часть просто выбросить, часть упаковать в картонные ящики, я, человек вполне несентиментальный, перед тем как покинуть его навеки, вдруг произнес с кривоватой ухмылочкой:

— Прощай, мой товарищ, мой верный слуга...

А потом его, наверное, разнесли в щепу... А может быть, во время перестройки сломали перегородку и выволокли на свалку, во двор... Словом, я и его пережил, но так и не знаю, кому же из нас больше повезло в этом случае...

Ночью, в двенадцатом часу одному пьяному приспичило бить жену. Баба вырвалась, прыгнула с крыльца и в одном белье стала бегать вокруг дома...

Крики ее разбудили соседку — та выскочила во двор, повисла на заборе и стала стыдить пьяного...

Тут вышел из дома муж соседки да двинул как следует своей половине чтобы не лезла не в свое дело. И она заголосила громче первой бабы...

Этот вой разбудил еще одну соседку, а потом проснулся и ее муж.

Словом, через четверть часа баб лупили на всей улице, а через час — во всем городе...

По тихой зеленой улочке, которая медленно взбирается в гору, солидно ступает казанский татарин — в тюбетейке, в сталинском френче, в галифе и в хромовых сапогах. На два шага сзади молча идет покорная низкорослая жена...

А дети — мальчишка и девочка, как видно, погодки — отстали, заигрались и возятся на траве у дороги... Татарин обернулся, свистнул и строго крикнул: «Айда!»

Мальчишка с девчонкой тут же бросились догонять и вот уже степенно идут сзади матери...

Всякий летний вечер видишь удочки, удочки, удочки. Они несутся, привязанные к велосипедным и мотоциклетным рамам, торчат из окон переполненных автобусов и комфортных легковых машин. Тотальная мобилизация мужского населения, война с рыбами до победного конца...

Рыбаки разводят костры, форсируют реку в брезентовых самодельных лодочках, замирают над гладью озер в статически нетерпеливых позах, раскидывают браконьерские снасти...

А потом возлежат, как римские патриции, возле кипящих котелков глоток из эмалированной кружки, глоток из алюминиевой ложки, хохочут, матерятся, чувствуют себя абсолютно свободными, с восторгом слушают, как старый оккупант, покоритель Манчжурии дядя Сережа повествует о своем несостоявшемся романе с гейшей...

— У нее, понимаешь, бритая, как у ишачихи... Я не стал...

— И я бы не стал... А ты бы стал?

—

Ах, как хорошо тут у догорающего костра, ни тебе жены, ни начальника никакого, только ночь глядит на них во все свои звезды, пищат комары, тихо плещется озерная вода и в ответ ей булькает во фляжке бывшее содержимое страшной цистерны...

Когда бы я ни вспоминал теперь гимназию, мне непременно почему-то представляется зима.

Я вижу, я чувствую, как в темной и холодной синеве утра Матрена тихонько подходит к моей

кровати...

Нет, просыпался я не от ее ласковых прикосновений — когда она приближалась ко мне, я уже не спал, я просто нежился под теплым одеялом.

Пробуждение происходило в тот момент, когда Степан, дворник нашего дома, вламывался в квартиру, огромный и шумный, с мороза, в полушубке, топал сапогами, проходил в кухню и сваливал у плиты огромную охапку дров... Промерзшие поленья падали с грохотом.

— Тише ты! — вполголоса пеняла ему Матрена. — Спят еще!

— Прошу прощения! — всякий раз отвечал он ей и, стараясь ступать неслышно, удалялся...

И это означало, что через двадцать минут Матрена совсем неслышно подойдет к моей кровати, наклонится над изголовьем, тронет за плечо осторожно, нежно...

— Вставай, пора...

Я никогда не откликнулся на это первое прикосновение, я норовил оттянуть, продлить сладкие минуты под одеялом...

— Вставай, вставай...

А дальше все так спешно, рубашка, штаны, гимнастерка, башмаки, ненавистное умывание, обжигающий чай с калачами, с розанчиками, шинель, ранец, хлопнула дверь, наш переулок, снег скрипит под ногами, призраки деревьев на Чистых прудах, Мясницкие ворота, Мясницкая, Милютинский переулок, проходной двор дома Обидиной, Фуркасовский, вот и гимназия бывший дом князя Пожарского, но вход с Большой Лубянки, задыхаюсь, задыхаюсь, последний вираж вокруг здания — всегда бегом, актовый зал, восемь тридцать...

ПРЕМУДРОСТИ НАСТАВНИКЕ, СМЫСЛА ПОДАТЕЛЮ, НЕМУДРЫХ НАКАЗАТЕЛЮ И НИЩИХ ЗАЩИТИТЕЛЮ, УТВЕРДИ, ВРАЗУМИ СЕРДЦЕ МОЕ, ВЛАДЬЖО. ТЫ ДАЖДЬ МИ СЛОВО, ОТЧЕЕ СЛОВО, ее БО УСТНЕ МОИ НЕ ВОЗБРАНЮ ВО ЕЖЕ ЗВАТИ ТЕБЕ, МИЛОСТИВЕ, ПОМИЛУЙ МЯ ПАДШЕГО.

БЛАГОДАРИМ ТЕБЕ, СОЗДАТЕЛЮ, ЯКО СПОДОБИЛ ЕСИ НАС БЛАГОДАТИ ТВОЕЯ ВО ЕЖЕ ВНИМАТИ УЧЕНИЮ. БЛАГОСЛОВИ НАШИХ НАЧАЛЬНИКОВ, РОДИТЕЛЕЙ И УЧИТЕЛЕЙ, ВЕДУЩИХ НАС К ПОЗНАНИЮ БЛАГА, И ПОДАЖДЬ НАМ СИЛУ И КРЕПОСТЬ К ПРОДОЛЖЕНЮ УЧЕНИЯ СЕГО...

Мне всегда казалось, что эта молитва какому-то совсем другому Богу, не тому, строгому, утреннему, которому мы, задыхаясь, — ПРЕМУДРОСТИ НАСТАВНИКЕ... А Этот какой-то неторопливый, даже безалаберный Бог, который ведет меня из гимназии домой к обеденному столу, к Матрениным котлетам в сметане...

Он ведет меня бульваром мимо стольких соблазнов, мимо катка на Чистых прудах (два раза в неделю для учащихся вход бесплатный), а на Покровке, совсем близко, сплошь женские гимназии — Бяземской, Баумерт, Винклер, и все гимназистки по вечерам на катке, а на углу Иван Иванович Штольте, синема Волшебные Грезы, Нордиск-фильм, Швеция — с участием Гаррисона.

БЛАГОДАРИМ ТЕБЕ, СОЗДАТЕЛЮ...

Совершенно не помню уроков Закона Божьего...

Законоучителя представляю себе очень смутно, только его крест с камешками и немосковское окающее — ГОс-пОдь...

Зато слишком явственно помню, как завидовал я трем мальчикам из нашего класса — поляку, немцу-лютеранину и еврею, они были освобождены от Закона Божьего...

Какое блаженство — не зубрить Заповедей Блаженства!

А Великим постом все мы непременно должны были говеть и причащаться... Момент приобщения ускользает, но зато так и вижу исповедь...

Вижу ширму в церкви, где мы считались прихожанами, за ней сидит батюшка — строгий отец Петр.

За эту ширму все заходили по очереди, у каждого в руке свечка. И он не всех разрешал, нет-нет, да и выходит кто-нибудь оттуда обескураженный, неся свою свечку обратно...

Вот этого я боялся сильнее всего, сильнее кары небесной, сильнее Страшного Суда... А что как прогонит меня с моей свечкой?.. Не отпустит грехи?

Этого, конечно, ни разу со мною не случилось, и я даже примерно не скажу, в каких страшных грехах я ему каялся... Помню взмах руки, и епитрахиль, как крыло, опускается на мою голову... И чувство несказанного облегчения — взял, взял, взял мою свечку...

А за столиком сидел диакон и писал круглым почерком нам, гимназистам, справки о том, что мы говели...

Нет, гимназии я не любил...

И не то чтобы учителя у нас были дурные. Их я и сейчас вспоминаю, скорее, с симпатией — директор Николай Николаевич Виноградов — Кноп, инспектор — Михаил Андреевич Смирнов — Юс, Август Евстафьевич Грюнталь латынь, хорошенькая Аидия Константиновна Булгакова — французский, строгий Федор Иванович Фрацисси — немецкий...

Нет, не в этом, не в учителях дело... Гимназия была первым в моей жизни стадом, и вот это было непереносимо... Я ненавидел своих соучеников, никого в отдельности, но именно всех вместе — всю эту прыщавую, неопрятную, гогочущую свору... Они, кажется, никогда не преследовали именно меня — у них всегда были жертвы и послабее характером, и победнее, но я чувствовал, что неприязнь стада в любой момент может обратиться и на меня, и неизвестно, достанет ли сил тогда противостоять им...

Пожалуй, самое острое чувство моего детства — чувство уходящих, кончающихся каникул — Святки, Пасхальной недели... Летом у меня портилось настроение уже с половины августа...

Боже, как представишь себе утро, проходной двор Обидиной, за спиною ранец.

ПРЕМУДРОСТИ НАСТАВНИКЕ, СМЫСЛА ПОДАТЕЛЮ...

Зато какое ликование в день наступления каникул!

В четверг на вербной неделе мы неслись, не чуя под собою ног, прямо из гимназии на Красную площадь, ныряли в эту ярмарочную суету и разноголосицу, под кремлевской стеною — ларьки, лотки, палатки, пряники, квас, сласти, мячики, свистульки, тещины языки, стеклянные чертики в пробирках...

А по самой площади — Поди, берегись! — несутся экипажи, у кого лучше выезд — вороные, гнедые, буланые... — ну, то ли еще покатит! — до Тверской и обратно, до реки и назад, назад...

Ах, впереди целых две недели свободы!..

И, Боже, как чудовищно, как неправдоподобно и непредвиденно оправдалась и подкрепилась вся моя детская ненависть, отвращение, страх, которые я испытывал по отношению к своей гимназии, к Лубянке, к Фуркасовскому, ко всему этому кварталу...

И суждено было сгинуть со света на этом самом месте и самому бывшему дому князя Пожарского, и всем оставшимся князьям — Пожарским и не Пожарским, и брату моему, и мужу сестры, и почти всем родным, и знакомым, сколько видит глаз, и еще миллионам мне неизвестных.

Мне часто снится один и тот же страшный сон.

Я бегу зимним утром, опаздываю в гимназию — Мясницкая, Милютинский, двор Обидиной, Фуркасовский, заднее крыльцо...

Я вбегаю в класс последним, я усаживаюсь на место, я не успеваю даже убрать ранец, как меня вызывают к доске...

— Отвечайте! — говорят они мне.

И я не знаю урока... И я пытаюсь им объяснить, что тут какая-то ошибка, я ведь уже давно кончил гимназию, кончил, даже университет...

Но они ничего этого слушать и знать не желают.

— Отвечайте! — говорят они мне.

И они — это уже не наши учителя, не Кноп, не Юс, не Август Евстафьевич, не Лидия Константиновна, — нет, они — они с портупьями и кобурами, они со шпалами и ромбами в петлицах...

— Отвечайте! Отвечайте! Отвечайте!..

ПАСТОРАЛЬ

— Хорошо тут на речке лежать да загорать... Ты чего, в отпуске?.. А я вот пасу... Отдыхаешь, значит... Сам с Москвы?.. А ты на турбазу-то едешь? Не едешь? Ну, зря... там тебе и танцы, и что хочешь... Я вот сам ездил туда раз семь на мотоцикле... Да не везет мне, никак не везет... У меня уж и жена была, месяца четыре с ней жили... Такая поб...шка попалась, куда там... Ковровская, из Коврова... Я когда не пас, зимой, там в Коврове в ресторане кочегаром... А у нее там отец со мной работал. На мотоцикле... На четырнадцать лет была меня моложе... А отец на мотоцикле... Возил там мясо, муку — чего придется, мотоцикл с люлькой... А раз получаем мы с ним вместе получку, купили бутылку. Он и говорит: «Поедем ко мне выпьем». И еще покрышку для мотоцикла я у него хотел взять... Он говорит: «Есть у меня покрышка...» Старенькая такая была покрышка. Пять рублей я за нее ему отдал... Ну, сели мы тогда на мотоцикл, поехали. Приезжаем. У него дома жена. Вот он и говорит: «Знакомься, Валентина, мы с ним вместе работаем, кочегаром он у нас в ресторане». Ну, сели, налили, то да се... А потом он и говорит ей: «Давай его на нашей дочке женим. Ведь он холостой, неженатый...» А ее еще, Альки, не было... Она потом пришла. «Она, говорит, — тебе понравится...» — «Ну, чего, — говорю, — я не против». А тут она приходит, я как поглядел, у меня глаза и разбежались... Ну, смехом, смехом, выпили эту бутылку... Она только зашла одну рюмку выпила... мы с ним после съездили еще купили... Покрышку я у него тогда взял, отдал пять рублей... Ну, он и говорит ей: «Пойди, Алька, проводи его...» Она и пошла меня провожать... Постояли мы с ней... «Приезжай, — говорю, — к нам, у нас место

хорошее». Она говорит: «Бот приеду, погляжу». Ну и говорит тут мне: «Дай закурить». Примечаешь? Семнадцать лет, а она уж курит... А она у них я после узнал — б...а, б...а... Ну, я говорю: «Давай сойдемся, поживем года два, потом распишемся». И вот через неделю приехала она сюда... Поглядела все и говорит: «Теперь я за вещами съезжу». Ну, отец мой ее прописал, на работу ее устроили... Я тогда в Семьях пас... И тут началось... Тут уж она себя показала... Я пасу, я в неделю только три-четыре раза приезжаю домой ночевать... На мотоцикле... «Минск» я тогда взял... А тут у нее и таксисты, и кто хочешь... После уж соседи рассказывали. Подкатывает к дому такси, он посигналит, она выбегает в одном халатишке, только сверток у нее — там бутылка, и покатили в лес, туда к станции... А со смены придет, поужинает, вроде бы спать пошла на терраску, а сама в окно... А там уж ее ждут... Раз я приехал, гляжу, у нее парень сидит... Ну, она мне говорит, вроде бы он к брату к моему пришел... Ну, я — ничего... А то еще директор школы у нас тут был, красивый мужчина, высокий... Года с двадцать седьмого, в таких годах... Потом его поймали, он тут с одной молоденькой... Года с пятидесятого, ученица его была... Вот он с ней два года дружил. А сам женат — двое детей... Ну, вот поймали их, его, конечно, от нас убрали... Вот и он тоже... Тоже с моей, с Алькой... Мне потом друг сказал, на пойму они ходили... Обнялись и на пойму... Отодрал он ее там, наверное... А мне чего? Мне не жалко, раз уж все ее... Я на него не обижаюсь... И в Ковров она все ездила — вроде бы на день, на выходной... А сама два, три дня... Наб...ся там досыта, приезжает... Я говорю: «Давай вместе в Ковров съездим». — «Нет, — говорит, — с тобой не поеду. Тебя, — говорит, — моя мать зовет. Поезжай к ней сам, а я с тобой не поеду...» Примечаешь? И отношение тут у нее ко мне плохое стало. Прямо ужасное отношение... Ложимся спать, а она мне: «Пошел ты на х...» Или там — к матери... Букарашек я на ней раза два ловил... И так-то ленивая по дому была. Редко-редко когда пол подотрет или по воду сходит, а так ничего не делала... Я уж и не жалел, когда она вещи собрала да и совсем уехала... Какая это жизнь?.. Вот говорят: женщины, женщины... А я так скажу другая женщина есть хуже мужчины... Вот уж этот год, я уж тут пас, ко мне тоже из Коврова одна ездила... Полная такая... Ездила ко мне... А тут один мужик мне по пьянке говорит... «Я, говорит, — на работу лесом шел, и она тут шла... Ну, я с ней сговорился, сошли мы с дороги...» Я после у него трезвого переспросил... «Точно, — говорит, — было». Я и сказал ей: «Не ездь ты ко мне больше». Ну, чего ей надо? Она и там в Коврове б...т, и ко мне сюда ездит, и тут глядит, кому бы подвернуть?.. Или вот Алька моя... Высокая, полная — у тебя б глаза разбежались... Ей семнадцать лет, а у нее..... Я с ней ничего и не чувствовал... А вот была у меня еще женщина, здесь живет... Старше меня лет на девять... С двадцать восьмого года... В таких годах... Килограмм была на девяносто... Высокая, мясистая, жирная... Вот с ней-то мне больно хорошо было... Лет восемь я с ней дружил... И еще в Коврове, как я в ресторане работал, была у меня одна Зоя... Тоже я с ней дружил... Лет на одиннадцать меня моложе, в таких годах... Черная была такая — мать у нее еврейка... Полная... Дружили мы с ней... Я и говорю ей: «Давай сойдемся, будем жить». И комната у ней была... «Нет, — говорит, чтоб сойтись, ты для меня уже старый. Так дружить еще подходящий». Или вот на турбазе. Познакомился тут с одной. Тоже москвичка, евреечка... Небольшая такая, полная... «С мужем, — говорит, — не живу, но у меня девочка — в Москве с матерью осталась... Ты, говорит, — завтра вечером приходи. Только надень белую рубашку, костюм да галстук, полботинки...» Ну, думаю, пойду... Может, у нее и комната есть, так можно сойтись да жить... А тут к вечеру, как назло, баранишка пропал у меня в лесу... Пока его искал, куда тут пойдешь... Так и не пошел... А на другой день вижу, она идет с мужиком... «Муж, — говорит, — приехал». А сама сказала, с мужем не живет... Примечаешь?.. Нет, не везет мне... Никак не везет... Ну, ты лежи, загорай... Я пойду... Мне скотину поглядеть надо. Хоть там у меня есть бабенка, присматривает... Приблудилась тут одна... Сама-то из города, а живет в сторожке на кладбище... Пропащая бабенка...

август 1972

Где пьют отраву.

На старом кладбище прямо на пышной траве (ломоть хлеба, перышко зеленого лука и соль на клочке газеты).

За заводским забором, сидя на драной резиновой крышке от грузовика...

В чьем-то палисаднике под кустами сирени...

Даже в дощатом автобусном павильончике, куда без дождя с иными целями никто и не заглядывает. Здесь лавка, а в стенках начертаны перлы сортирного фольклора. Любовь до гроба — Дураки оба. Косой заиц Нанес яиц. Тарас, иди на матрас. Леша + Наташа = любовь до первого сношения Девки, падлы вы, дешовки, Все подстилки, шалашовки.

Нынче утром пришлось мне копаться в плите, потому что надо было зажарить яичницу, но лень было мыть сковородку... И я решил отыскать другую... И вот когда я с брезгливостью шарил там, попался мне вдруг один забавный предмет, Бог весть сколько уже провалявшийся без употребления. Чугунный трилистник, три маленькие, величиною с чайное блюдце, спаянные между собою сковородочки — старинный агрегат для выпечки деликатных, тоненьких, к барскому столу блинов...

И только взял я его в руки, как мгновенно вспомнилась мне Масленица, вспомнилась такую, как была она когда-то у нас дома — с дымом, с чадом, разносящимся по всей квартире, с покрасневшей потной Матреною, стоящей у плиты, и едва успевающей переворачивать и снимать свои маленькие кружевные блинчики, с мамой, мечущейся между кухней и столовой, с белой скатертью, с водочными графинами, с лимонной цедрой на дне их, с лоснящейся розовой семгой, с севрюгой, с икрой — с красной и с черной, салфеточной, с непременною чашкой крепкого бульона после жирной еды, со звонками запаздывающих гостей...

Утром отец скажет:

— Матрена, блины вчера были изумительные.

— А у меня всегда, что ли, плохие?..

Как мне не хватает ее, Матрены... И даже не тогдашней — хлопотливой и услужливой, отпирающей двери отцовским клиентам, помогающей им снимать пальто и получающей гривенники... (У нее вместе с общесловными цепями пропали в банке триста рублей, золотом.) Нет, мне не хватает ее уже старой, ворчливой, не хватает ее вкусных котлет, которые она ухитрялась стряпать мне даже из ихнего мерзлого мяса, ее грубоватой нежности, ее соленых поговорок...

— И чих, и брех, только пёрду нету...

— Ссыте, бабы, гряды горят!

Маму я никогда особенно не любил. Пока мы были маленькие, ей было не до нас — с ее портнихами, с сестрами, приятельницами, гостями... А когда все это разом кончилось, будто той жизни и не бывало, она спохватилась, что у нее есть дети... Но мы уже были слишком взрослые и не смогли отвечать ей искренней взаимностью, отчуждение детских лет оказалось непреодолимой преградой...

А Матрену мы все трос обожали.

Фрейдисту было бы нелегко заниматься русской интеллигенцией. У нас почти ни у кого нету

комплекса Эдипа, зато почти у всех налицо — комплекс Пушкина, у каждого своя Арина Родионовна, своя дряхлая голубка...

Это обстоятельство, впрочем, тоже сыграло свою роковую роль...

Кто у нас был народ? Кормилица-нянька да лихач Ванька...

И в один прекрасный день мы с удивлением обнаружили, что и у няньки, и у Ваньки существуют не столь услужливые и даже довольно страшные родственники и однофамильцы...

Временами кажется, что наша этажерка — действительно какой-то карточный домик, что эти переборки и перекрытия не только не скрадывают, но даже усиливают все звуки... Только что угомонился лифт, точильщик-паяльщик-сверлильщик слева что-то медлит сегодня, а проклятый ящик за противоположную стеною вместо своего апокалиптического «гооооо-ол!» солидно бубнит что-то касательно надоев...

Мат-росы мне пе-ели про ост-ров,

Где раст-тет го-лу-бо-ой тюль-пан...

Боже, разве сегодня среда?.. Конечно, конечно, я совсем забыл... Среда, и, конечно, у мадам внизу нынче белоглазый... Вон под окном дремлет верный «фиат»... Это у них, должно быть, именуется — «наша среда»...

Бывают, правда, и внеочередные среды — по пятницам и по понедельникам, но никогда в субботу или в воскресенье, белоглазый, как видно, добрый семьянин и примерный отец...

А я гит. г-оо-ръкое пиво,

Улы-баясь глубиной души...

Старый пошляк, он и после смерти все еще кривляется, Вертинский под патефонной иглой... И голос его, как я успел уже заметить, неизменная, так сказать, художественная часть этой «нашей среды»...

Мы при-гла-си-или ти-ши-ну-у

На наш прис т-чаль-ный у-жин.

Да-да, у них скоро станет тихо, совсем тихо, и они предадутся иным ритмам, несколько менее прихотливым, нежели в музыке изломанного паяца...

По-моему, пластинка эта появилась внизу вместе с белоглазым. Может быть, он ее и подарил. Во всяком случае при том, предыдущем, я ее ни разу не слышал...

КУРЯЧИЙ ДОКТОР

— Здравствуйте...

— Здорово, дедуся.

— Это с петухом сюда, что ли?

— Заходи, заходи! Показывай своего орла

— Нет, ты, милоч, погодь... Ты мне вот что сперва скажи. Отчего у меня куры мрут? С позапрошлого года почитай двадцати молодкам головы оттяпал... И топор-то у меня тупой. Раза три вдаришь, пока она отскочит. Мрут и мрут.

— Ну, это, дедуся, так сказать затруднительно. Мало ли какие у них бывают болезни. Туберкулез, чума Ты давай показывай петуха-то, показывай.

— Погодь, погодь. Вот и он. Уж третья неделя. Раньше-то у него хохол красный был, а теперь вот, значит, пожелтел... Да повис. Чего это с ним?

— Сейчас, дедуся, посмотрим... Сейчас определим... Держи его вот так, держи... Так, так... Шелушение... Сережки... кожный покров ног... Ну-ка ты ему, дедуся, клюв открой... так, так... Вот сюда, поближе к свету... Ну вот. Желтое образование в гортани. Картина ясная. Авитаминоз.

— Чего?

— А-ви-та-ми-ноз! Болезнь, хворь у него такая... Ты, дедуся, чем их кормишь?

— Известно чем — хлебом, картошкой...

— Вот-вот — хлебом да картошкой... А им, дедуся, витамины нужны.

— Чего?

— Вот что, дедуся. У тебя дома морковь есть?

— Есть. Как не быть?

— Значит, так, натри им морковь и давай. А свекла есть?

— И свекла есть, милоч.

— И свеклу им руби да прибавляй. Дрожжи им тоже давать неплохо. Рыбий жир можно вливать по чайной ложке. И потом, дедуся, солнце. Они ведь у тебя всю зиму в курятнике сидят, солнца не видят. И гравий им надо, ракушки в зиму заготовлять.

— Это курам-то?

— Курам, курам, дедуся.

— Чудно, милоч... Вон у отца-то у мово сколько их было, и ничего им не делалось... А теперь вот, видишь, и моркву им, и рыбий-то жир. А они все мрут, вседохнут.

— Тебе, дедуся, сколько годов-то?

— Восемьдесят третий пошел. Раньше-то...

— Да что там — раньше-то? Ты на «раньше» не смотри... Раньше вон одно мыло было, а теперь вот порошки разные, синтетические. Баба вылила их на улицу, она, курица, попила из этой лужи — вот тебе и готова. Много ли ей нужно? И удобрений разных не было. Раньше-то по деревне возили только что навоз. А теперь вон тракторист тряхнул, удобрение просыпалось, и вот тебе опять пожалуйста. Наклевались они и готовы. Так что, дедуся, картина тут ясная — авитаминоз...

— Нет, милоч. Мне думается, он не от этого... Я его риперином лечу.

— Чем, чем?

— Риперином. Таблетки такие.

— Какие еще таблетки?

— А вот ты слушай. Мне голос был. На просонках. Будто кто в ухо сказал: чем себя лечишь, тем и его лечи... Риперином. Вот он пузырек-от, погляди...

— Ну-ка, ну-ка... Реоперин... Ревматические заболевания... острый, подострый... хронический артрит... люмбаго... Вот что, бабуся, то есть дед... Ваши таблеточки тут ни при чем. Ты его в гроб вгонишь.

— Нет, милоч... Я смотрю, ему вроде помогает. У него вот на той-то неделе хохол совсем желтый был... А сейчас вот, гляжу, вроде как поправляется. Еще не совсем красный, а уж вроде того. Я об ем все думаю. Вот мне голос-то и был на просонках. Будто кто прям в ухо сказал: чем, дескать, ты себя лечишь, тем и его лечи...

— Ты, дедуся, со мной не спорь. Говорю тебе: авитаминоз. А таблетками этими ты его изведешь. Только в гроб вгонишь.

— А ты что, ветеринар, что ли?

— Ветеринарный врач.

— А то у меня еще был друг большой, ветеринар. Тоже тут, в городе. Морозов Федор Степаныч. Мы тогда молоко им сдавали. А обрат-то нам опять не давали. Наш-то обрат весь в колхозы шел да в совхозы. С каждого хозяйства литров по сто двадцать. Я тогда и напиши в область, дескать, наш-то обрат уходит в колхозное стадо, а своих телят выпаивать нечем. Мое-то письмо и переслали сюда. Он, Федор-то Степаныч, на улице меня увидел да рукой вот так-то машет. «Вы, — говорит, — писали во Владимир?» — «Я, — говорю, нечем ведь кормить телят-то». А он мне: «Сколько, — говорит, — тебе нужно? Я тебе выпишу». Я говорю: «А люди как же?» — «А люди, — говорит, — хер с ними. У меня на всех не хватит». — «Нет, — говорю, — не всем, так и не мне...» Морозов Федор Степаныч...

— Ну, вот что, дедуся, бери свои таблетки и не думай ему их давать.

— Он у меня уж штук склевал шесть. Вот так-то рот ему открою, он и проглотит. И вроде как лучше...

— Слушай, дедуся... Ты этим только себя успокаиваешь. У тебя это вроде как условный рефлекс. Я вот сам — семь лет, как пить бросил. Я на праздник теперь за столом стакан лимонаду выпиваю и тоже, как все, пою... Это у меня условный рефлекс. Вроде я тоже пьяный. Так вот и у тебя — рефлекс. Говорю тебе, ты его в гроб вгонишь.

— Ну, прощай, милоч...

— Прощай, дед. Только я тебе точно говорю. Брось ты эти таблетки. Сам пей, а ему — ни-ни... Подохнет, как пить дать, подохнет...

— Подохнет али выживет — на все Воля Божья...

март 1971

Местная легенда.

Курам надо известь давать. Они без извести чахнут. Вот когда собор на площади ломали — это была известь. Сильнейшая известь. Начальник милиции, Карлов тогда был, известь домой возил машиной. И так он курей раскормил, такие здоровые куры стали, что он уж в курятник без нагана заходить боялся...

Так весь собор курам и скормили.

А куранты с соборной колокольни почему-то в свое время не расшуровали на колесики и винтики, а сняли целиком и поместили в дощатую собачью будку на крыше старого двухэтажного магазина тут же, на площади. Они и теперь еще показывают время более или менее точное, но уж больше не твякают...

Самое старое кладбище на горе.

Покровская церковь, разоренная и разрушающаяся, старые деревья, орешник... Зелень пышная, как всегда на погостах, и полное запустение, как в саду у Плюшкина.

Надгробий почти нет, так только ржавые кресты кое-где.

Памятниками мостили дорогу, которая поднимается по кладбищенской горе. Идешь по ней и, кажется, видишь сквозь асфальт...

Здесь покоится тело коллежского асессора Василия Ивановича Протодиаконова. Жития его было 94 года.

Здесь погребен инженер-технолог Герман Романович Гетце.

Под камнем сим покоится тело раба Божия Иоанна Ильина Шалунова.

Александр Францевич Подселевич и сын его младенец Николай.

Здесь покоится младенец Георгий Пашковский.

Почетный гражданин первой гильдии купеческий брат Иван Осипович Сеньков...

Нежные и хрупкие гимназисточки с Чистых прудов мне с самого детства казались чем-то слишком возвышенным и недостижимым, а потому я сравнительно рано стал прибегать к услугам наемного в постели труда, что вполне одобрялось моим папашей, регулярно выдававшим мне определенные суммы для этой надобности.

Знавал я и такую Москву, где каждая улица соответствовала пункту в негласном прейскуранте... Самые дешевые — на Цветном бульваре и на Трубе один рубль. Неглинная — классом выше — три рубля, а Петровка — все пять... Впрочем, я недолго гарун-аль-рашидствовал в этих веселых кварталах, я скоро облюбывал себе одно определенное заведение (из дорогих, из дорогих, разумеется, папенька раскошелывался

весьма охотно).

Блаженной памяти мадам Люсьен,

Рождественский бульвар, дом семь...

(Стихи пошли, вот до чего растаял от одною лишь воспоминания.) Вход у них был со двора, дом не имел подъезда с улицы. Номера большие, просторные, штофные красные обои, роскошная деревянная кровать, всегда крахмальное белье, в тумбочке — одеколон, вазелин и прочие по ходу работы необходимые мелочи, девочки все как на подбор, пальчики оближешь...

Эх, да что там! Мне в самом девятнадцатом году подавали у них. натуральный кофий с французским ликером и с настоящими пирожными!.. Мадам Аюсьен, правда, уже не было — она предусмотрительно укатила в Париж, еще в начале восемнадцатого. А заведение переняла ее экономка — Маргарита Павловна, очень милая, услужливая...

Но в том же девятнадцатом — увы! — чека накрыла в одну прекрасную ночь это местечко, и я сам чудом не угодил в облаву...

А теперь там тоже стоит этажерка, снесли, нету уже того дома... Но все идет своим чередом, ведь и у меня в этом заведении постепенно отпала надобность...

Но вот чего я терпеть не мог и к чему прибегал лишь в исключительных случаях, так это — унылый и отчаянный в своей унылости советский разврат... После службы, на липких клеенчатых диванах или в жалкой комнатке лучшей подруги, которая дала ключ...

Нет, у мадам Аюсьен, на Рождественском бульваре все это было поставлено на профессиональную ногу, а я, грешник, питал и питаю неизбывную слабость к любому профессионализму и терпеть не могу дилетантства...

Вот уж университет я совсем плохо помню...

Новое здание на Моховой, против Манежа.

Огромная Богословская аудитория, а всего несколько десятков лиц... Профессор, кажется, Филиппов бубнит про кодекс Юстиниана — *corpus juris civilis* — скука, скука...

Куда как интереснее сидеть в это время в Кремле, в Митрофаниевском зале окружного суда и, затаив дыхание, слушать, как модный присяжный в щегольском фраке растекаше мыслию по дереву.

— А теперь, милостивые государи, обратимся к образованию моего подзащитного. Как сказал поэт, «мы все учились понемногу, чему-нибудь и как-нибудь...»

А в сортире юридического факультета была надпись: «просят господ вкладчиков не оставлять сдачу на кассе».

МИЛЛИОН ДВЕСТИ ТЫСЯЧ

— Садись, садись... Свободно. Присаживайся. Она сейчас уберет. Чего? Обедать пришел? Тоже хорошее дело. А я вот пиво пью. Между прочим, сейчас его в городе нигде не достанешь. Только в ресторане. Я сегодня с женой поссорился, а ну тебя, думаю... И пошел пиво пить. Городишко у нас паршивый, куда денешься? Только в ресторан... Тут чего — льнокомбинат, текстильные фабрики, незамужние ткачихи составляют большинство. Завод осветительной аппаратуры, его пока заключенные строят. Да вот наш учебный центр, считается ДОСААФ... А я — инструктором. Летчик не летчик, а вроде того... Не то в армии, не то на гражданке. Не поймешь. Я под миллион двести тысяч попал. Слышал тогда? Хрущев пошутил в шестидесятом году. Нас парней таких молодых, здоровых... Миллион двести тысяч. Чего я тогда был? Курсант, идеальный человек. Двадцать пять пачек Беломо, ра нам давали... Девушка, еще пару бутылок... А как получилось? Кончил я первоначалку, попал в боевое. В Кинешму. Инструктор у меня там был Рубакин. Такой спокойный человек. Не ругался даже. Один только раз обозвал меня. М..., говорит, ты... Инструктор — бесподобный. Он теперь в пилотажной группе... Приезжаем в Кинешму. Там такое помещение — что ты! Всюду паркет. Мы там пол не мыли — полотером его. Там до пятьдесят третьего года учились немцы. Вот для них и расстарались. Паркет, в туалете кафель... Между прочим, немцы — они на желудок слабые.

Поносят, дрищут... Мне инструктор-старик рассказывал. Как лето, так они поносят. Не с кем летать... А Рубакин теперь в пилотажной группе. Его все знают. Персидский шах приезжает, а он на сверхзвуковом начинает дорываться. Он, между прочим, там у них погорел. Из-за этого дела. Закладывает. Сейчас насчет этого строго. Был капитаном, срезали до старшего. Можно было выгнать его, но пилотяга бесподобный... это раньше было. В шестьдесят первом, в шестьдесят седьмом. Ребята гонят самолеты с Москвы, с парада. Летят парой, расстояние пятьдесят метров — видят друг друга. По радио: «Давай?» — «Давай!» Вынимают по четвертинке, раскрутили и туда ее... А сейчас строго. Пульс, давление. Если сомневаются, трубку тебе дадут на анализ. Иначе нельзя. А вон Гагарин-то с Серегиным. С похмелья они были с великого. А там, между прочим, руководителя полетов оправдали вчистую. Он им так и сказал: «Я запрещаю вам». Но ведь Гагарин. А Серегин-то был командир полка. Взяли машину, взлетели и понеслись... Они брали сверхзвуковую скорость на неподобающем типе. Самолет-то не приспособлен. Пастух стоит — бах! — сверхзвуковой хлопок. Очевидец-пастух рассказывает. В километре от него под углом семьдесят градусов. Ну как так можно? Скафандр с головой в сторону, сигара в земле... Искали их в течение месяца. Как археологи. Найдут кусочек мяса, кисточкой его и — в институт. Найдут деталь и — в институт. Сам он виноват. Не может быть, чтобы летчик погиб так по-дурацки. Серегин-то полковник простой, ему бы там в кремлевской стене не лежать никогда. Самолет, видимо, разрушился. Он для этой скорости не приспособлен. Не говорят нам всю правду. У нас вот приказы бывают, если кто разбился. А о Гагарине приказа не было. Их вертолетчики тогда искали, рыскали... А очевидец — этот пастух. Первый раз, говорит, прошли — такой звук, чуть не упал. Второй раз, смотрю, сигара падает. Градусов под семьдесят... Девушка, еще бутылочку... Да, пошутил тогда Хрущев. В мае шестидесятого года. Тысяча сто человек нас — ждем приказ. Или в часть, или на х... на гражданку. Двадцато-го мая приказ. На гражданку. А мы уж летали, летчики... Оформляют, одевают в офицерскую форму... В июне выхожу на гражданскую. Жизнь только что начинается, и она бьет меня по мозгам. Хрущев мне тогда, сука, крылья подрезал. Я бы сейчас самое меньшее майор был по моему здоровью... Вот, говорят, пиво с солью пить нельзя. Печенку разъедает. А я скажу — чепуха. Если у человека есть здоровье, ни черта ему не будет... Ну, выхожу на гражданку. Молодой я, диплом у меня. Прихожу на завод. Берут на испытание двигателей. Там двигатель реактивный ревет. Поставят его за бетонной стенкой, а ты гладишь в зеркало. И целый день ревет. Там мужики по пятнадцать, по двадцать лет работают. С работы идем, они выжрут по стакану и вот орут, вот орут... Там не орать нельзя. Глухие все на х... от такой работы. Я им говорю: «Чего вы орете? Тут же на улице дети». Идут, орут, матюгаются... Я пришел к начальнику: «Ну тебя на х... с такой работой, я глохнуть не хочу». И меня в сборочный цех. По сборке двигателей... Вызывают в военкомат. «Поедешь на сборы в Вологду». А я в то время фуражку вот с таким

бы козырьком надел, чтобы не видеть его, небо-то... Обижен я был ужасно... Миллион двести тысяч он тогда пошутил... Потом мастером по бетону работал. Вызывает меня подполковник. «Ты, говорит, — летчик. Зачем ты в пыли ковыряешься? Езжай в Тулу в Аэроклуб». Ну, я поехал. А там мне начальник говорит: «У тебя налета не хватает». А я ему: «У вас женщина работает, и вы меня не берете». Повернулся и пошел. Догоняет меня на лестнице. «Напиши, — говорит, — в Калугу, в Тамбов и вот сюда. Там, — говорит, — учебные центры». Ну, я написал. Думаю, откуда быстрее ответ придет, туда и поеду. Отсюда начальник, полковник Жаринов, сразу мне написал. Приезжай, дескать, но никаких квартир... Ладно, думаю, чего ждать? Х... на х... менять — только время терять. Приехал. Четыре года на частной квартире жил. Сейчас — все нормально. Квартиру дали — две комнаты. Мне только что обидно? Теперь приезжает летчик, он только, извини за выражение, из м... вылупился, а ему уже квартиру. А я четыре года на частной страдал... Начальник, между прочим, полковник Жаринов из Монины. Сейчас — в запасе. С высшим военным образованием. Он имел квартиру там, в Монины, а тут прямо у нас в центре жил. Тогда чего были курсанты? На самолетах еще летали. Мальчишки — девятнадцать лет. Зашумят они там, он прям в трусах бежит вверх и начинает их по-всякому... Человек был страшный. Он не любил людей. Ему кинуть за борт человека ничего не стоило. Он был засранец в этом отношении. «Ты, — говорит, — мне не нужен». Идиот был самый полнейший. У нас в центре забор, а в нем — дырка. Так вот он по вечерам встанет около дырки, курсант из самоволки лезет, он его — хоп! Он имел, сволочь, квартиру в Монины, а сам тут жил. Там семья, а тут он один. Делать-то ему не х... На танцплощадку ходил. Чего там — мальчишки восемнадцать-девятнадцать лет. Он туда приезжает на машине. Курсанты как увидят его — полковник! — и через забор. Потом летчики все поднялись, все-таки убрали его от нас. И все были рады — легче работать. И, между прочим, он, если речь с курсантами говорить будет, обязательно начнет с туалета, с уборной... И этим же кончит. Как штык. «Вот, — скажет, — вы приходите садитесь в туалет. Прежде чем сесть, ты наметься, наметься туда. Посмотри, а потом уже делай...» И речь дальше толкает... Вы все сволочи, и тому подобное... Ругает их, ругает... А в конце опять: «Прежде чем садиться, ты наметься, наметься. Посмотри, а потом уже клади...» Но он был хозяйственный. Кончил монинскую академию, «поплавок» имел. Умный мужик, хозяйственный. Но он нечеловечный был человек. Вот, как Хрущев ахнул про Сталина и про всех, и он мог так сделать... Еще бутылочку!.. Тут, между прочим, тогда и анекдоты были! Стоим мы на поле. В зоне курсант летает. Наш один инструктор смотрит, следит за ним... «Во... вираж сделал... бочечку... вираж... сейчас разгоняет на петлю... во-во-во... разгоняет... Падает! Падает!» — и к руководителю полетов. Руководитель полетов вылез: «Где?!» Мы тут все преобразились... А это — коршун. Он курсанта-то потерял, за коршуном следит. Издали-то не видно. Коршун чего-то там увидел и — вниз! А курсант уже сел. Подбегают к нему: «Товарищ инструктор, надо пересадку делать». — «Как?!» — говорит. А он уж сел. Вот мы тогда смеялись... Падает, падает... А то еще... Когда пересадку делали, раньше у самолета двигатель не выключали. А сектор газа, он тут, с правой стороны... Вот раз у нас один курсант вылезал, да и двинул по сектору-то газа. Ну, самолет и пошел, мать вашу... Учебный самолет. У него все отрегулировано было. Руководитель кричит: «Убирай газ! Убирай газ!» А там — никого... Ну, набрал он высоту метров двадцать пять, и — вниз! Готово дело. Руководитель думал, кто убился. А там — никого... Только самолет в щепки... Но на самолетах я недолго шастал. Только приехал, через год переучились на вертолеты. Самолеты эти в Казань перегнали. А работать я люблю... В каком отношении во всяком отношении. У меня вот и медали, их ведь за хорошие глазки не дают. Только эту зиму — неудачно. У меня курсант сломал лопасть Я не виноват, а меня обвинили. Я допустил спешку, я допустил халатность... О! Гляди, лейтенант пришел Моя милиция меня бережет... Я тут был у них прошлый год, в апреле. У меня жена уехала, я на радостях пошел в кино Ну, выпивши был, конечно, хватая... Подходят ко мне их двое. «Вам здесь находиться не положено». — «Как это — не положено? — говорю. — Я билет купил». Ну, вывернули мне руки, и вытрезвитель. А на мне синий костюм был такой, нормальный. Приводят в вытрезвитель. «Раздевай-тесь!» — «Х...! — говорю. Не буду я раздеваться!» Ко мне старшина подходит лет так пятидесяти. Как боднет меня головой в живот, в поддых. Ну, я на

диван у них повалил-ся... «Ах, ты сука, — говорит, — падла...» Матюгами меня и по-всякому. И давай карманы выворачивать. А у меня, как нарочно, ни копейки. Ну, давай опять мне руки крутить... Я им говорю: «Давайте, крутите мне руки. Я не Мересьев, я простой летчик. Руку мне повредите, будете отвечать». Ну, они тут перепугались. «Иди, — говорят, — отсюда». И квитанцию мне дали на штраф. Я на другой день в сберкассе двадцать пять заплатил и квитанцию им приношу. Говорю старшине: «Дурак ты, — говорю, — дурак. На двадцать-то пять рублей мы б с тобой как выпили. И в ресторанчике бы посидели...» А он молчит. Чего скажешь?.. Теперь, как в городе меня увидит, первый здоровается... Но я свою работу люблю. У нас тут центр — может, один или два на весь Союз. Ко мне курсантики со всего Союза и с Липецка, и не знаю откуда приезжают. Лет по девять не летают. Приходят и не знают, что такое вертолет. Вот и учи их. А если что, так сразу говорят: у тебя методика страдает, туда-сюда... Их сюда приезжает по сто пятьдесят человек, и ты за своих головой отвечаешь. А они, понятно, мужики женатые. А тут вырвутся — и давай! Чуть что разбегаются на танцы в клуб. Официантки у нас в столовой тоже. Как новый заезд, так готовятся, ждут. Накрасятся, намажут... Потом провожают, плачут. И опять новых ждут... Так-то снабжение у нас в центре свое. Военная база. В буфете и колбаса бывает, и тушенка. Мы от города не зависим. Это тут ни х... в магазинах нет... Паршивый городишка... Вот зять у меня в Афинах, в Греции. Он там на нашей ГРЭС, в командировке. Он мне пишет оттуда: «Адриатическое море плещется за квартал от меня, но жратва здесь очень дорого. Чтобы мне один раз пойти в бар, я должен русскими деньгами платить три рубля с копейками...» Я ему все хочу письмо написать, чтобы он картинок переводных с бабами привез побольше. Как это ему в письме-то намекнуть, чтоб привез побольше сувениров. Вот у нашего полковника авторучка есть. Заглянешь, а там тебе — как хочешь, любые позы... Или вот еще для ключей... Это... брелки... Заглянешь туда, а там бабы голые. И телевизор есть такой маленький. Тоже на ключи нацепляется. Покрутишь, там тебе все — любые позы. У нас в центре летчик один был — Комар. Между прочим, Владимир Михайлович Комаров, как космонавт. Мы его все дразнили. Так у него дядя — в Афганистане. Вот он его снабжал. У него такой телевизор был. А наш начполет, подполковник, морской летчик, он прямо его узурпировал. Отдай — и все! У подполковника своя «Волга». А Комар уперся. Не отдает. И уж он так его по службе гонял — целый год. То здесь ловушку сделает, то там. Душа у него была немного еврейская. Морской летчик. Отдай — и все! И допек. Прямо узурпировал. А Комар сам вроде такой тихий был. Из Владимира. Мальчишкой — карманник был. Первый вор. Вот такие лбы его слушались. Он без мыла в душу влезет... Давай еще по одной? Не хочешь... Вот как бы мне это зятю в письме намекнуть, чтоб он сувениров этих побольше привез. На них спрос есть... Я вот сегодня утром с женой поругался. А, говорит, ты такой, ты сякой... Пошел пиво пить. Человек в жизни должен все испытать. Я считаю, надо жить широко. Хоть неправильно, а широко... А здесь городишка такой паршивый. Вот суббота, воскресенье — куда кинешь свои кости? Только что кино... Между прочим, о летчиках еще ни одного фильма нормального нет. Спокон веку... «Небесный тихоход», «Воздушный извозчик» все не то... Вот кино бы надо сделать про авиацию. А то все про работяг. Ну что работяга? Он, конечно, вкалывает. А надо сделать про летчиков. Конечно, лишнего не надо создавать... Как простые люди, по-простецки. Наша работа топорная. Это как в опере поется: «Отрежем! Отрежем! — Не надо! Не надо! Где мои ноги? — Вот они!» — медицина в белых халатах, Мересьев на койке. Опера — «Повесть о настоящем человеке». А так-то я не жалею. Все нормально. Летчик первого класса. Летаю — не летаю, мне сто тридцать выложи. Ну и полеты с курсантами — три рубля восемьдесят копеек час. Пятьдесят-шестьдесят часов в месяц. И премиальные. Квартира — хорошая. Ребятишек двое: девчонка в шестом классе, пацан на будущий год в школу пойдет. Жена у меня институт кончила. Английский преподает. Адье, адье, май нейтив шо... Байрон. Прощание с морем. У него вообще судьба неудачно так сложилась. Любил он там одну, пришлось ему с Англии уехать... А я тебе так скажу: жизнь — сложная штука. И мы, люди, в ней, как мошки. Будь ты там идеал или там феномен, а все равно ты умрешь. И хочется после себя что-то такое оставить. Чтоб о тебе вспоминали... Вот сын у меня растет... Но это не то. Это идет родословная... Надо, чтобы что-то после тебя осталось музыка или еще какая-нибудь чепуха... Да... Человек ценится своей простотой и своим железным

характером...

март 1971

Приемный покой — дежурная комната в городской милиции.

Низкие своды и метровые кирпичные стены (бывший уездный острог). У самого дежурного письменный стол, над ним репродуктор. Вдоль стены ряд стульев с откидными сиденьями, как в синема.

Сам дежурный вполне преисполнен, а наряд скучает в бездействии. Провели с десятком узников в камеру. Их всех быстро обшарили, не несут ли чего недозволенного. (Престидижитаторское искусство шмона под аккомпанемент репродукторного Шуберта).

В углу женщина с подбитым глазом пишет жалобу на мужа.

Дежурный между прочими заботами помогает ей.

— Как именно обозвал?.. Свидетели есть?..

Привели с площади двух драчунов — молодого и старого.

МОЛОДОЙ: Зря по морде давать не надо. Ты наглец.

СТАРЫЙ: Черт ты, говнюк, деревенский засранец!

ДЕЖУРНЫЙ: Обоим по пятнадцать суток.

(А Шуберт-то, Шуберт заливается!)

Еще одна пришла, робкая. Мужу-узнику принесла сахар и папиросы.

Снисходительно взяли.

А на подоконнике стоит болотного цвета эмалированный чайник — символ равенства, братства и счастья. Все без исключения — и начальник, и дежурный, и участковые, и задержанные — все подходят к окну, берут его за ручку и, слегка наклонив голову, тянут воду прямо из выгнутого носика...

В те самые первые дни их новой власти никто из нас и не мог понимать истинных размеров и значения того, что совершилось. все сидели по домам, на улицу боялись нос высунуть, прислушивались к стрельбе...

Каждый день мы с нетерпением ждали возвращения Матрены, которую с превеликилш предосторожностями выпускали из квартиры за хлебом и за свежими слухами... Мать изнывала, жизнь без примерок решительно потеряла всякий смысл. Отец ходил взад и вперед по кабинету, не в силах будучи представить себе дальнейшее существование вселенной без правительствующего сената. Старший брат мой еще гнил в каких-то окопах...

Скудные наши запасы растаяли очень быстро, Матрена все чаще возвращалась без хлеба... И я принял решение пойти к ним на службу. Отец с матерью пытались протестовать, на делать было действительно нечего.

Я прослужил у них в общей сложности сорок с лишним лет. И теперь они даже платят мне

пенсион, который считается завидным... Я переменял у них уйму должностей, главным образом консультировал, давал советы, которые, впрочем, почти и не принимались во внимание... Иногда я даже что-то подписывал, но никогда, никогда ничего не решал...

Но первую свою службу не забуду до гроба.

Вообразите себе шкаф, простой деревянный шкаф под красное дерево...

Нет, не так... Лучше все по порядку.

Устроил меня на эту службу однокашник отца и как бы друг нашего дома Павел Семенович. (Кстати сказать, совершеннейший идиот, я за всю свою жизнь ни до ни после не встречал ничего подобного.) Так вот этот самый Павел Семенович почему-то стал каким-то начальником в Политотделе Политуправления Реввоенсовета Республики. (Вот на каком языке они уже тогда изъяснялись.)

Он составил мне протекцию, и я получил в этом же Политотделе должность делопроизводителя. Производил я вот какое дело. Ко мне поступал приказ Реввоенсовета о назначении имярек военным комиссаром или заместителем военного комиссара какого-нибудь города, уезда или даже целой губернии. И на основании этого приказа я выдавал имяреку мандат — красную книжечку с золотым тисненым гербом... Кроме того, я делал выписку из этого приказа и клал ее в отдельный картонный формуляр...

И вот теперь вообразите себе шкаф, не такой уж большой, под красное дерево, и в нем — множество щелей-ячеек. Шкаф этот тогда символизировал всю Россию, а щель — губерния, уезд, город. В каждой ячейке два формуляра военный комиссар и его заместитель...

Теперь-то я себе ясно представляю, что за всем этим стояло бесчисленные аресты, обыски, расстрелы, закрытые церкви, узаконенные грабежи... А тогда как-то об этом не думалось. Тогда я должен был внимательно следить за новыми назначениями и за перемещениями комиссаров и сейчас же переключать формуляры из одной щели в другую...

Я совсем не помню теперь имен. Да и вряд ли многие из моих тогдашних мандатоносцев уцелели или даже у мерли своей смертью... Но две фамилии я хорошо запомнил — Киров и Жданов. Их формуляры почему-то следовали в моем шкафу, как нитка за иголкой, куда один, туда сейчас же и другой, куда сей, туда и оный...

И все это — Политотдел Политуправления Реввоенсовета Республики — все это помещалось в известном всей Москве доме «Россия», Сретенский бульвар, № 6. Дом этот и по сей час здравствует, стоит, как ни в чем ни бывало. И если когда-то его фасад — претенциозный стиль начала века — вызывал во мне отвращение, то теперь я едва ли не люблю им — оказалось, что тогдашний модерн еще далеко не самая низшая степень падения архитектуры...

Они занимали частные квартиры, например кабинет Павла Семеновича был в чьей-то белой спальне, и его страшные посетители рассаживались на мягких атласных пуфиках... А мой шкаф стоял в бывшей детской... (Этим, очевидно, подчеркивалась невинность моей игры с формулярами.) В углу комнаты пылился старый волшебный фонарь, а из-под самого шкафа я однажды извлек куклу с оторванной рукой...

Но вот о чем я сейчас подумал. Интересно, кто же сделал, кто изобрел, кто заказал столяру этот шкаф с ячейками? Ведь когда они меня наняли, он уже стоял и вся эта система была разработана...

Неужто они ее еще в Женеве придумали?..

Служил я у них тогда, конечно, не из-за жалованья...

Надо сказать, что такого смехотворного жалованья я не получал за все сорок лет моего самовольного рабства. Выдавали мне два неразрезанных рулона керенок — зеленые двадцатки и коричневые сороковки...

Там, у Сретенских ворот, еще до катастрофы был ресторан «Саратов». Ну а в мое время, конечно, он был закрыт, и все же на этом месте всегда стояли лихачи... Так вот всего моего жалованья, этих двух рулонов денег хватало ровно на одну поездку куда-нибудь на Арбат или на Пречистенку.

А служили мы все из-за пайка. (О, страшное и великое, могучее советское слово — ПАЕК!) О выдаче его, пайка, нас предупреждали загодя, за день... И мы назавтра являлись все на службу с саночками. Я, например, с теми, что когда-то несли меня с ледяной горки на Чистых прудах...

И вот после присутствия во дворе, подальше от посторонних глаз нам из подвала выдавали паек — мешок муки, мешок крупы или чечевицы, маленький мешочек сахара или кураги, постное масло... Все это бережно нагружалось на саночки, и — с Богом. Я вез свою добычу сначала к Мясницким воротам, а потом моим старым гимназическим маршрутом, Чистыми прудами... Скользишь, прыгаешь с сугроба на сугроб, с одной гигантской снежной волны на другую... (Дворники к этому времени совершенно раскрепостились, и Москву решительно никто не убирал.) Я балансирую, осторожно переступаю, а саночки с пайком катятся за мною, тянутся, как октябрь за февралем, как за Кировым Жданов...

ТОЛКОВИТЫЙ МУЖИК

Домик у нее аккуратненький, и стоит он, отступя от порядка, на окраинной улице. Грядки перед тремя окнами фасада на загляденье ухоженные и ровные. В сенях стоит неповторимый запах деревенского жилья. Пахнет своим квасом и еще непонятно чем, совершенно домашним.

Задняя изба — так называется первая комната, где она и принимает гостей, — сияет чистотой. На столе светится самовар, который от времени и усердных чисток с песочком и кирпичом почти потерял никелировку и теперь показывает свое желтое медное тело. Лавки, бок печи, на полу настланы клеенки. Всюду мелкие груши и яблоки в корзинах и тазах. В углу — Царица Небесная, Владимирская, и перед Нею — лампада.

Сама хозяйка маленькая, кругленькая, ужасно подвижная и живая. Возраст при этом разобрать затруднительно — не то под пятьдесят, не то за семьдесят. Усадивши гостя под божницей, она и сама присаживается к столу и уже не умолкает ни на секунду. Слова сыплются, как горох, но пулеметная эта речь звучит напевно. Говорит она всегда об одном и том же — рассказывает о своем отце.

— Соков его звали Василий Прокофьевич Соков толковитый был мужик, он все Библию Евангелию читал, все пророки изучил к нему, бывало, и наши мужики и богатые купцы специально приезжали, он со всеми беседовал и всем объяснял, помню, все приходил к нему из города здоровый мужчина, толстый такой, потом земский начальник приезжал, он ведь один такое толкование имел все разъяснял вот бывало и этот говорит и этот и у меня есть Библия и я читаю а растолковать как Василий Прокофьевич не могу, и вот придут к нему Василий Прокофьевич говорят расскажи нам мы с тобой посидим он сейчас Библию с полатай снимет за стол сядет раскроет и говорит, первое дело говорит придет время не

будет у нас царя и денег этих не будет, сахару не будет, и соли не будет, а они ему говорят этого говорят не может быть, а он им я говорит читаю у пророков я и сам не верю ведь и у самого деньги пропали и вправду не верил а только говорил им не будет у нас царя и денег этих не будет, а они ему дескать не может такого быть как же мы можем без царя и без этих денег как на камне трава не растет так и этого быть не может, а он все читал и рассказывал только по Библие придет время и храмы овдовеют как вдовы вдовицы потом осиротеют как сироты потом обнищают как нищие, как это так говорят овдовеют, а это говорит значит колокола снимут, а как же говорят так осиротеют, а это священника говорит из храма возьмут, а как это говорят обнищают, а это значит разорят церкви и будут они как нищие, а я как увидела разоренный-то храм и грязный он и весь стоит черный так я заплакала и говорю прав был отец-то, а потом говорит придет время храмы разбогатеют пуще прежнего но не много их будет не все они будут придет время будет гонение на христиань пойдут винные с невинными всех под одну гребенку, нет говорят не может такого быть, а он говорит эти которые невинные будут всех грехов прощенные в тюрьмах наполнятся число с военными наравне священники первые пойдут в тюрьму а за ними и мы пойдём будут дети юноши в тюрьмах за прегрешения родителей а грех родительский обязательно взыщется, вот при мне мальчишку судили за шесть кило картошки в войну это было он им в суде объяснял пришел к матери а ничего у ней нет где-то он работал в городе пойдю говорит в лес гриб найду какой увидел люк открытый а там картошка и набрал он сумчонку пойдю говорит в лес испеку картошки да поем и вот дали ему два года за шесть кило картошки уж милиция и та ему вся сочувствовала говорят неужели человек ихний колхоз разорил мы говорим кто в суде-то сидели можно ему поесть а милиция говорит давайте все я ему хлебца дала и кто чего в сумке было все давали а девчонку при мне судили послали ее в ФЗУ работать она поработала да и не пошла не пойдю говорит а отец-то ей и говорит не ходи с ребенком посидишь не помню у них мальчишка ли парнишка за это ее судили отец помню стоит и плачет значит говорит я теперь не хозяин своим детям я говорю работаю конюх жена у меня работает а с ребенком некому я ее и не пустил в ФЗУ и присудили ей шесть месяцев уж так она плакала плакала и все плакали я думала у ней сердце разорвется я вышла с суда и плачу сама-то и тут-то я его вспомнила отца-то говорил он придет время дети невинные юноши пойдут в тюрьмы, а потом говорит придет время на печи будете спать а тюрьму выспите и будут в тюрьмах невиноватые, ему говорят как это дескать так мы в тюрьму-то попадем коли ни воровать ни котовать не будем, а он говорит я грешил а дети мои за мой грех пойдут на печи говорит будете спать и выспите тюрьму на печи, а пришло время и вон племянница моя на работу десять ли пятнадцать ли минут проспала и на год ее в тюрьму она хоть и не на печи спала а на кровати а все одно тюрьму себе высала вот тогда-то я его и припомнила как он говорил придет время на печи будете спать а тюрьму выспите, и еще говорил придет время в домах не иконы будет а музыка, все говорят не может говорят этого быть как это говорят так не иконы а музыка, а вот поехала я в столовую в Ковров и заиграло там радио я тут прям и прослезилась вот думаю икон не стало а стало радио и пока ела она все играла и пошла она все играет и так это мне не пондравилось знала бы думаю и не пошла бы туда обедать вот и помянула отца-то, и еще он говорил придет время богатый обнищает и взалкает и спознает нищенскую жизнь, а они говорят быть говорят того не может как это так богатый обнищает и взалкает и спознает нищенскую жизнь как это он может обнищать сгорит что ли так у богатого и сын и дочка богатые он к ним перейдет и уж не дадут они ему по миру-то пойти, а он и говорит придет время и позавидует богатый бедному и все богатство их пойдет по бедным, и удивились все и говорят как уж это оно пойдет с ногами что ли оно, а он мужикам и сказал да говорит ворота только будете отворять встречать да принимать, а как раскулачили у нас-то на селе так они богатые ходили по всей деревне и кому чего пристраивали кому чего думали потом дескать попользуемся мне их старая дева богатые они были мне помню говорит Клавдя говорит только до вашей говорит Улицы не дошли а то по всей деревне в каждом доме наше добро вот тогда-то я его и помянула, и еще он говорит не берите ихнего ничего не покупайте и пусть дешево оно будет не прельщайтесь когда будут продавать их-то добро, у нас в деревне раньше ставили наряд на нищих на нослещиков сегодня твоя очередь тебе стучат и нищего ведут нослещика на ночь и тут уж не откажешь мы не отказывали уж какой бы он ни был

нослещик и вшивые было у нас стояли и всякие уж у меня так и кровать была для нослещика и вот раз приводят мне его ночевать Клавдя говорят ваша очередь пришел он это у порога сел на приступочках я и говорю ему иди говорю на лавку говорю есть может хочешь он говорит не против собрала я ему покушать потом и муж мой приходит ваши говорит документы поглядел он так-то удивился и говорит как же говорит это ты доставщик его величества государю был и мог в нищие попасть а у него двадцать две кондитерские были в каждом городе ведь у него кондитерская была и государь только что брал у него в магазине и был он кум ему царю-то крестил он у царя не помню только мальчишку ли девочку в гостях у него был у царя-то я говорю милушка вон на каких перинах спал и так-то показывает а муж и говорит как же ты говорит в нищие-то попал а он и говорит как пришло время люди стали в Америку уезжать я прихожу к отцу и говорю папаша и нам надо ехать ведь все отберут а отец-то говорит полно говорит сынок что у нас доброго и люди возьмут и нам останется и не поехали а когда нас шаркнули оставили нас только в бане отец-то тут от расстройства не помню чего и получилось и с женой а дети-то от него отписались и сам-то он как их шаркнули от расстройства оглох и вот рассказал он так-то а я и вспомнила что отец-то говорил придет время богатый обнищает и взалкает и спознает нищенскую жизнь, и вот еще говорил придет время и все это говорит приближается такое время что поле все соединят в одну полосу не будет нигде ни меж ни рубежей, а они говорят быть этого говорят не может, а он говорит и все говорит будут тогда работать вместе и сначала люди будут получать много и будут плясать и веселиться а потом получают со дна меры вот это как ведро-то перевернуть да сюда насыпать много ли оно выйдет, и правда когда колхоз-то настал они все на машину сядут да катят да баба одна подпрыгивает да ура кричит тьфу думаю а сестра у меня раньше-то получала в колхозе тридцать пудов а потом получила три пуда вот те и со дна-то меры уж она редела редела и что поделаешь с тремя-то детьми, а потом говорит придет время и будут они получать одни только единицы, так оно и вышло у них только палочки им всем и писали а ничего на них не получали, и говорит придет время будут ссоры и споры и неприятности, уж они там в колхозе-то бывало грызутся, а потом говорит придет время и петух на дворе не пропоет нечем его будет накормить-то и брат брата своего не познает и придет и не накормят его, вот голод-то был и опять я отца помянула, и еще говорит придет время даже такое найдут люди лошадиное копыто подкову и не будут знать что это такое, вот теперь-то в городах лошадей и нет, и даже говорил коровий рог найдут и будут спрашивать друг у дружки что это такое вот какое время придет, а как я стала с мужем дом строить не этот еще в деревне так только мы его покрыли не отделанный он был а отец-то ко мне и приходит доченька говорит доченька какой ты дом-то затеяла ты бы говорит на курьих ножках бы поставила ведь вы не будете как мы жить вы будете бежать с места на место, и вот ведь правильно пришлось мне бежать, а легонький говорит домишко или перетащишь куда или продать так тебе не так-то тяжело будет и еще говорит не запасайте говорит хорошей одежи запасайте походячей вам в гости-то некуда будет ходить да запасайте побольше обуви а то скоро говорит обувь-то будете носить без заботы от пятницы до субботы швы-то развалятся вот она какая у вас обувь-то будет, я вот давня видала на остановке женщина сидела сапоги резиновые на ней новые а подметка отрывается я ей говорю сапоги-то говорю на тебе новые а подошва-то отвалилась она ах батюшки я ведь только одну неделю их ношу вот тут-то я его и вспомнила, придет говорит время хлеб будете есть все из одной печи, а они говорят нет говорят не может этого быть как уж это оно будет все из одной печи, а вот теперь-то уж и в деревнях никто хлеба не печет все едим из одной печи, и спрашивают его Василий Прокофьевич когда ж это время-то будет, а вот говорит когда шпили-то на домах станут это время уже приближается а так-то он на меня на девчонку рукой показывает и говорит вот они будут матери горе горе их будет великое пусть говорит эти матери одеваются в ретище и усердно молятся за своих детей если умолят они то будут их слушать а если не умолят никаких их слов дети понимать не будут, придет время такое что люди не будут бояться ни зверей ни чертей а только будут бояться людей мы говорит раньше коли увидим человека сзади идет поджидаем а вы будете жить бежать будете от человека, и еще говорит придет время человека не знали и не узнать бы — а вам придется с ним ругаться, а вот очереди-то настали так-то нам и приходится ругаться не знаешь человека не узнать бы а ругаешься

приходится ругаться опять я его покойника помянула, придет говорит время будут девицы бестыжие лица, и такое время придет что семь жен поищут одного мужа, нет говорят не может чтобы семь жен искали одного мужа, а вот я сама видала под Свет-номераами бабы дрались из-за мужика штук их пять было и все они дрались да ругались ты что у меня его отбила а ты что у меня отбила нет ты у меня отбила уж я смеялась смеялась а бабы-то и говорят хоть бы мужик был а то ведь и мужичишка у них плохонький, а потом придет время и у девушки закроются уста от песен так что какое-нибудь тяжелое время это будет что уж девкам будет не до песен, а то я-то еще девчонкой и говорю ему отцу вон говорю богатые как живут больно хорошо, а он говорит не завидуй придет время будете на печи лежать да манну с неба получать придут вам деньги-то на дом, вот мы ныне пенсию-то получили, и еще говорит придет время скажут вам бумаги у нас нет примите скажут печать на челе или на руке но вы не принимайте это будет говорит какая-то третья печать первые-то две мы и не заметили кто говорит примут эту печать эти люди все отойдут к сатане а кто не примут спасутся услышат с неба голос не тужите вы будете живы и сыты а эти с печатями-то придут откроют склады а хлеба не будет будут склады пусты и тогда они зашумят и пойдут к правителю а он к ним выйдет на балкон весь в белом и скажет ти-и-иха! что вам? а они закричат хле-е-ба! а он им на небо укажет дождя скажет нет земля не родит где я вам возьму и тогда они все разойдутся и воды даже им не будет бежать будут искать воды и будет валяться серебро они подумают это вода блестит а это серебро побегут и дальше увидят блестит подумают вода а это валяется золото пятами будут топтать не выжмут ли чего из земли водички кто где выжмет тот попьет потом побегут к горам горы падите на нас задавите нас а смерть от человека убежит и смерти они себе не найдут это запечатанные-то так-то будут переживать, и придет время земля растрескается так что человек может войти в эту щель и придет время Господь уменьшит птиц плодов рыб и реки обмелеют а болота осушатся и будут сдвигать гора с горою...

Так вот и вижу: изба, на лавках купцы да земский начальник качают головами, на приступочках притихшие мужики, с печи и с полатей свесились любопытные русые головки. А толковый мужик Соков Василий Прокофьевич сидит за столом под образами в свете керосиновой лампы, сидит над раскрытой Книгой и вещает:

— Придет время...

— Придет время...

— Придет время...

август 1970

А в субботу да и в пятницу к вечеру почти все прохожие мужеского пола ступают нетвердо, неся невидимые узы алкоголя, и составляют бесчисленные композиции на тему роденовских граждан Кале...

Пьяный несет на плечах мешок соломы. При первом взгляде кажется, будто он качается от тяжести, а не от хмеля...

Парень бредет по улице, едва передвигая ноги... То и дело заглядывает себе за пазуху — там у него крошечный щенок.

— Не бойсь! Ты же, мать твою, овчарка!

На перекрестке большая лужа. Мимо движутся двое — один трезвее, другой совсем пьяный.

Идут они, как Селифан и Петрушка, оказывая друг другу большое внимание...

Тот, что пьянее, неожиданно качнулся и рухнул прямо в грязь. Заботливый товарищ наклонился, подал ему руку, хотел поднять, но сам потерял равновесие и шлепнулся в лужу... Поднялся и опять принялся выручать друга, почти поднял его, но тут они упали вдвоем...

И так без конца — пока не надоеет смотреть...

Некто лежит у самой канавы... Вдруг очнулся, поднялся на четвереньки, с огромным трудом встал, начал мелко-мелко и замысловато переступать ногами, будто в сложном танце, и снова повалился на бок...

Еще один валяется поперек тротуара вниз лицом. Куртка из ложной кожи и рубашка задрались, видна спина до самых лопаток.

— Признак смерти налицо?

— Ну, налицо...

И вдруг он несколько раз громко чихает, содрогаясь всем телом, но так и не приходя в сознание...

Шел я по проселку глубокой ночью. До ближайшего жилья было не меньше версты. И вдруг я чуть не споткнулся, чуть не наступил на огромного мужика, который развалился посреди самой дороги не хуже гоголевского запорожца.

Я полюбовался на него, безуспешно попробовал его растолкать и двинулся дальше. А еще через двести метров мне навстречу попалась женская фигура, обремененная ношей. Когда мы поравнялись, я разглядел, что она несет, и сообразил, кто она.

Это шла жена пьяного и несла она ему одеяло и подушку...

А может, все-таки плюнуть, да и спросить, куда он делся, у самой этой дуры снизу?..

А почему, собственно, у дуры?

Нет, все-таки дура она, дура!.. Как она могла отдать эту папку в утиль?..

Дура, ни за что не спрошу!

А между тем я теперь очень ясно себе представляю, как он впервые прикатил в этот городок, как сошел с поезда со своим замысловатым рюкзаком... Как бродил по улицам, как глядел на все, как высматривал — и белую кошечку с розовым хвостиком, и пьяного у дороги, и милицейского, и девчонок, и старушек, и казанского татарина...

А никто и не подозревал, что среди них бродит убийца, что он совершенно сознательно выбирает себе жертвы...

А сейчас у них там, внизу — «наша среда»...

Под окнами терпеливо ждет вишневый «фиат», уже одиннадцатый, и белоглазому вот-вот надо выкатываться...

В постели-то он, наверное, лежит без очков, и эта незащищенность лица, эти мигающие его реснички, вот что вводит ее в заблуждение.

Он садится на кровати.

— Уже уходишь?

Быстро нашарил и надел очки.

— Просто не хочется нарываться на лишний скандал.

— Как ты ее боишься...

Не отвечает, поспешное натягивание штанов.

Уже в вертикальном положении.

— Ты прекрасно знаешь, она мне совершенно чужой человек... Но я не могу превращать свой дом в окончательный ад...

Не торопясь завязывает галстук... Надевает пиджак...

— Ну, ты лежи... лежи... Позвоню тебе завтра утром на работу...

И, быть может, еще одно формальное лобзание...

Щелкнет язычок замка, загудит лифт, грохнет дверь шахты...

А вот и зафыркал под окном фиатовский мотор, и два тревожных красных огонька с удаляющимся урчанием скрылись за соседней этажеркой...

БУЛЬДОЗЕРИСТ ФЕДЯ

— Ты Федю-то, бульдозериста знаешь? Не знаешь? Таких чудачков еще и поискать... Парень — что ты! Медведь. Плечищи — во! Бицепсы... Он тебе что хошь свернет. Такой чудак. Мотоцикл взял в кредит, ИЖа. Ну, хера ли ездить не умеет. Даром что силища в руках. Как ни поедет — поцарапается. Все с него летит, все с него падает. Ну, четыре раза скovyрнулся, на пятый раз взял его, положил на землю, да и говорит сменщику: «Вася, езжай!» — «Ты что, — говорит, — сбесился?» — «Езжай, тебе говорю. И все!» — «Нет, говорит, — я на него не поеду бульдозером». — «Езжай, — говорит, — а то, говорит, — сам сяду...» Ну, Васе-то чего, он и поехал. Так мотоцикл в ляпушку. Шутишь ли — бульдозером. Чего там от него осталось?.. «Давай, говорит, — лопату. Я его сейчас, — говорит, — своей рукой закопаю...» И закопал. «Все, — говорит. — Теперь я спокойный. А то, — говорит, — мне с ним жизни нет...» А деньги за него еще не выплатил. Четыреста восемьдесят рублей денег еще платить... Жена у него маленькая баба, а занозистая. «Ты, — говорит, — чего натворил? Ты, — говорит, — чего наделал? я бы, — говорит, — его продала по крайности, а теперь — чего?»

А Федя только: «Не надо он мне! Не было у меня его и не будет...» А баба все на него наускаивает. «Ты с ума, — говорит, — совсем сошел! Чего натворил-то? Еще ведь четыреста восемьдесят рублей...» И по затылку его, все по затылку... Маленькая бабенка, а злобная... Он, Федя, только что отмахивается. «Ты, — говорит, — чего щиплешься? Ты, — говорит, — спасибо скажи, что я на нем никого не убил и сам не убился...» Двое ведь у них детей. «Тебе, — говорит, — кто нужен? Он или я?.. Подумаешь, — говорит, четыреста восемьдесят рублей... Да я тебе больше заработаю. Я заработал и еще заработаю Я — бульдозерист. Я тебе и так и калым заработаю. А только я теперь спокойный. Нет его — и все! И мальчишки в металлолом не сдадут. Я только знаю, где он зарытый, да сменщик — Вася. А он не скажет... Мне, говорит, — его продать — я не хочу. Мало ли чего, еще убьется кто на нем. А я не хочу кому-либо плохо сделать. А так я — спокойный. Своей рукой зарыл. А то еще убьется на нем

кто, я переживать буду. Ну его!.. Не надо он мне». А она только: «С ума сошел! Сбесился!» И вот по затылку его, и вот по затылку... А он: «Да чего ты щиплешься? Дура ты и есть дура. Ты радоваться должна, что я живой остался. Ты чего жалеешь-то? Муж у тебя целый? Целый. Не покалечился? Не покалечился. Ну, и радуйся, дура! Ты чего щиплешься? А то ведь я и сам двину, так не обрадуешься». А у него — бицепсы во! Плечи во! Медведь, говорю тебе, чистый медведь! Он так и следователю сказал: «Товарищ лейтенант, нет его и все! Списывайте его с меня. Я, — говорит, на все согласен, только я на него злой... Черт, — говорит, — с ним, с ИЖом. Я, — говорит, — не только что четыреста восемьдесят, я, — говорит, — всю тыщу заплачу, чтоб только его не было! Я, — говорит, — на нем четыре раза поцарапался, да пятый раз чуть лоб не разбил... Я гляжу, у всех мотоциклы, ну, и я себе взял. В кредит. Думаю, поезжу на нем. Как ни сяду — все лечу... Он прям бешеный... На нем только газ дашь, уже глядишь на спидометре — девяносто. И опять я лечу. Не надо он мне, и все! Я на своем бульдозере ездить буду. Он у меня десять километров — больше не идет. Я на нем спокоен. Еду я на нем по своей стороне, по обочине. Уж я ни в кого не врежусь. Если только кто в меня врежется... Так и то у меня вон — нож. Сам он и разлетится... А этого черта, его мне не надо. Я только сменщику говорю: «Езжай и все! А не поедешь, так я сам сяду. Все равно ему не быть. Не дам я ему быть, и все тут!» Только теперь я спокойный. Нет его! В ляпушку!.. И никто его теперь не найдет. И вы, — говорит, — товарищ лейтенант, не найдете. Только что с миноискателем... А сменщик Вася вам не скажет. Нет его, и все. Я что положено за него заплатил. И еще заплачу. Мне не жалко. Зато я — спокойный. А жену не слушайте. Дура, она и есть дура. У нас двое ведь детей. А что, неровен час, я бы разбился? Куда б она с двоими-то? Кто ее, дуру, возьмет? Она радоваться должна... Баба, она и есть баба. Чего там она понимает? Я заработал и еще заработаю. Я бульдозерист». Такой чудак, понимаешь. Таких во всем городе не найдешь... «Езжай, говорит, — Вася, а то сам сяду. Я, — говорит, на него больно злой... В ляпушку! Не надо он мне...»

март 1971

Вечером из открытых окон нетрезвые голоса. Громче всех, конечно, поет в угловом доме свадьба:

Как зять тещу

Повел ее в рощу!

Вот тебе, теща,

Зеленая роща!

Посадил ее на кол,

Приударил кулаком!

Вот тебе, теща,
Зеленая роща!

Зятюшка, батюшка,
Грех тебе будет!

Вот тебе, теща,
Зеленая роща!

Ах, так твою мать,
Стала грех разбирать!

Вот тебе, теща,
Зеленая роща!

Следующий дом — двухэтажный. Из каменного низа:
Ты вспомни, изменщик коварный,
Как я доверялась тебе...

Из деревянного верха:
Это было в Гренаде,
Где испанцы живут,
Где цветут алианы,

Где гитары поют...

Через два дома на той стороне:

Что ж я буду делать,
Милый мой дедочек?
Что ж я буду делать,
Сизый голубочек?

Из второго деревянного этажа:

Подари мне забвенье,
Подари мне любовь,
Я такой одинокий,
Что люблю тебя вновь...

Через два дома:

Спекулируй, бабка,
Спекулируй, любка!
Спекулируй, сизая
Ты моя голубка!

А свадьба уже выплеснулась на улицу и пляшет прямо на траве.

И она:

Эх, сват, сват, сват,
Не хватай меня за зад,
Хватай только за перед,
Лучше горе не берет!

И он:

У милашки под рубашкой
Облигацию нашел,
Расстегнул свою ширинку,
Тут и номер подошел!

И она:

Девка — розовый букет,
Между титек — комитет,
Ниже пупа — райпродком,
Пожалуйте за пайком!

И он:

У милашки под рубашкой
Сорок восемь десятин,
Я молоденький мальчишка
Обрабатывал один!

И она:

Солдатики умны,
Завели на гумны,
Там рожь, лебеда,
Там и дать — не беда!

И он:

На дворе барана режут,

Я баранины хочу!

Если к осени не женят,

Х... печь разворочу!

И ничего он уже не разворотит. И он, и она, и вся свадьба, и соседи, и те, что через два дома, — все уже отравлены.

Вот тебе, теща, зеленая роцца!

Плохо мне одному... С тех пор, как умерла Матрена, — совсем плохо. Я ненавижу грязную жирную посуду, свои черные кастрюли и чайник... Ненавижу свой веник и совок для мусора со сломанной ручкой... Ненавижу сосиски в целлофане и слипшиеся кислые пельмени...

Но при всем своем желании я не могу представить себя женатым, как не могу вообразить себя далай-ламой...

Я вообще почти не верю в самую возможность брака. Это — редчайший дар, и я видел его лишь у двух-трех избранных еврейских пар, когда возникает некая неправдоподобная близость, сильнее родственной, сильнее дружеской, сильнее всего на свете...

Недаром ведь тот, у кого гостили Ангелы, при случае запросто выдавал жену за сестру.

Да и неизвестно еще что лучше — грязная посуда и липкие пельмени или закормленные внуки с золотушной сыпью на толстых мордашках, да взрослые паразиты дети?..

Только один раз в жизни я стоял как бы на грани брака.

По счастью, у моей тогдашней пассии не было ни малейшего желания, да и никакого резона выходить за меня.

Было это в самый мой кишиневский период, когда я бродил по агонизирующей Москве и глушил себя спиртом из тоненькой гарднеровской чашечки. Дама моя была в некотором роде замужем, и при этом муж ее был не то чтобы род дворецкого при ней, а просто тряпка, ветошка...

Рога мы ему наставляли с такой наглостью, что я и до сих пор диву даюсь...

А была она весьма холодная и расчетливая стерва, которая только что постельную работу любила и знала, а я при ней — просто сосунок, кувшинчик... И ей было совершенно ясно, что, несмотря на это, для роли ветошки я никак не годился... А потому и не следовало бросать мужа ради меня...

И не захотела она, не согласилась бежать со мной в Потогонию — страну любовной испарины...

Смешно подумать, я ведь стреляться хотел...

Наш рогоносец уже тогда, кажется, чего-то пописывал и даже печатал в ихних газетах... Потом она вывела его в люди, сделала «инженером человеческих душ», одним из главных инженеров, и все это с такой решительностью, что он и пикнуть у нее не смел.

Недавно она его без особой печали, но с большим почетом схоронила, оставшись вдовой с квартирой и с авторскими правами. И вот теперь, я слышал, держит у себя салон для либеральных литературных мнений...

Эх, да что там щелкоперы, бумагомаратели! Салонодержатели — вот чертово семя! Вот бы кого узлом завязал, в муку стер бы вас всех, да черту в подкладку! В шапку, туды ему!

ВИТЕК И ЮРКА

Прошное воскресенье у меня с утра трещала голова, и я решил пройтись по городу. Сначала потолкался на барахолке, ходил мимо развешанного на заборе тряпья и разного старого хлама, разложенного прямо на снегу. Потом вошел в самый базар. Не выдержал — с жадностью съел прямо у прилавка замерзший соленый помидор и такой же ледяной огурец. Больше было тут нечего делать, и ноги понесли меня по направлению к столовой «Заря», где, как я знаю, изредка бывает пиво.

В просторном и неопрятном зале было немногочленно. Посетители сидели строго разбившись на два лагеря — поближе к кухне те, что пришли поесть, поближе к буфету те, что пришли выпить пива или портвейну.

Я купил у буфетчицы кружку и пошел к столику у окна. За ним сидел в одиночестве крепкий тридцатилетний паренек с красной физиономией и оттопыренными ушами. Одет он был почти щегольски — шерстяная рубашка и добротный синий костюм. Пиво пил важно и сосредоточенно.

— Разрешите? — сказал я.

Он молча кивнул, и я уселся.

Говорить и мне не хотелось. Каждый из нас был занят своей кружкой. Моя кончилась быстрее, я встал и подошел к буфету.

— Повторить? — услужливо спросила буфетчица и налила мне новую порцию.

Я вернулся за столик.

В зал вошли еще три человека. Оглядевшись, они приблизились к моему соседу и молча пожали ему руки. Потом, очевидно решив, что мы с ним собутыльники, поздоровались и со мною.

Один из них — личность примечательная. Высокий, худой. На лице и на переносице несколько глубоких царапин. Нос опух, и нельзя разобрать, природная на нем горбинка или приобретенная. Глаза совершенно заплаыли. Пестрый бумажный свитер, под которым скорее угадывается, чем виднеется расстегнутая черная рубашка.

Двое других — шестерки. Один такой серенький с припухшими губами, а другой — белобрысая челка и носик выемкой.

Эти двое принесли пиво и стаканы, куда немедленно был налит цвета марганцовки портвейн. Мне тоже предложили, но я отказался. Они осушили стаканы, запили пивом.

Сначала заговорил Юрка — тот самый, солидный, в синем костюме, к которому я подсел.

— Прихожу, понимаешь, с работы — матери нет. Я в гардероб. Смотрю, нового пальто тоже нет. Я — к соседям. Говорят, не бывала. Я — к снохе. И тут нет. Я туда, сюда... Иду в больницу. Точно, говорят. В Горький отправили. В больницу. Рак у нее Желудка. Мы со старшим братом к врачу ходили. Говорим, нам-то хоть скажите. Рак, говорит, желудка. Ей-то не говорят. Хронический, дескать, гастрит у тебя. И есть ничего не может. Только молоко, сметану... Тут недавно прихожу, говорит: «Юрка, чего-то пельменей хочется». — «А чего? — говорю, — мясо у нас есть. Много ли нам вдвоем-то надо? Давай накрутим». Ну и накрутили. И вот, поверишь, только что четыре штуки съела — вырвало. Шестьдесят два года. Сколько еще протянет?.. И младший брат вернется, чего будет делать?..

— Толька? — сказал Витек, худой с разбитым лицом.

— Ну! — подтвердил Юрка, — Это ведь какой жук! Он в зоне, мне ребята говорили, он там работает, как лось... А выйдет — все. Ему какая хочешь зарплата, хоть шестьдесят рублей, только бы ему не работать. Только бы ему ни х... не делать. И, главное, хитрый ведь какой. Вот ты ему говори — он тебе поперек ни слова. Как будто соглашается. Знает, старший брат. Будет спорить, я же на него наору. А отойди ты на два шага, все по-своему сделает. В зоне вкалывает, а тут не хочу — и все!

— Он вообще чудак, — сказал Витек. — Вот он мой ровесник. Двадцать семь ему, а уж он почти червонец сидит. Только выйдет, его обратно в зону тянет...

— И там он работает, как лось, — сказал Юрка. — Чего теперь будет делать, не знаю. На мать уж надежда плохая. Старший брат — у него семья. Сестренка у нас в институте учится. Хочешь не хочешь, а каждый месяц тридцатка. Ему бы какая ни зарплата, только бы ничего не делать. Я в Прибалтику уезжал, на асфальтовом заводе работал. Говорю мастеру: «Возьми братишку на мое место». Там три дня в неделю работаешь, остальные на Клязьме лежишь загораешь. И меньше ста восьмидесяти не получается. Если ты там два дня прогулял, бригадир никогда тебе ничего не скажет. Но не пятнадцать же дней. Тут тебя уж никто не покроеет. А мать у меня такая. Никогда денег не спросит. Сколько ей в получку принес — пять рублей — пять. Сто семьдесят — сто семьдесят. Никогда не спросит Положил на швейную машину и все. Утром говорю: «Мать, мне похмелиться надо, дай два рубля». Без звука...

— У меня такой характер, — сказал Витек, — сколько денег есть, только стакан попал — все! Все пролетят. Ты вот ухитрялся три раза в день напиться? А я почти каждый день так... Лечиться думаю.

— Мне лечиться ни к чему, — сказал Юрка. — Я захочу — не пропью. Тут мать приходит, говорит, в ателье материал есть по двадцать четыре рубля метр. «Цвет, — спрашиваю, — какой?» — «Черный, — говорит, — без полоски». «То что надо». А денег ни копейки. Так вот, веришь, я из аванса три рубля пропил, а из получки — два. Нет, и все! Или вот я в Прибалтике жил. Двести сорок зарплата, девяносто командировочные. И все подчистую пропьешь. Иной раз на питание не хватает. Придешь к семейному: «Дай десятку, на питание не хватает». Вот до чего доходил. А тут отпуск. Ну, думаю, мне деньги будут нужны. Целый месяц тут надо гулять. И как отрезал. Говорю: «Не высылайте мне зарплату. Только командировочные». На питание хватало — во как! В воскресенье бутылку возьмешь, и нормально...

— Нет, у меня все летит, — сказал Витек. — Характер такой... Слыхал? Казбек из особого в строгий перешел? «Через четыре года я, — говорит, опять тут буду». Понял?

— У него ведь побег отсюда, из нашей зоны был, — сказал Юрка. — Я тогда в милиции на «Победе» работал. С автоматчиком его вывели, посадили в машину. С тех пор я его не видал.

— Не, ты соображаешь, особый на строгий? — сказал Витек. — Значит, он чего-то там думает...

— Таких артистов сколько хочешь, — сказал Юрка. — К нам, помню, прокурор по надзору приезжал, рассказывал. До 1 ноября шестьдесят девятого года в «крытке» легче было, чем в строгом. Так такие есть артисты. Он тебе такое нарушение сделает, что срок ты ему не добавишь, а в крытку перевести надо. Таких артистов сколько хочешь.

Или вот симулянты. У нас в зоне многие на аппендицит косили. Скажет все признаки, ну, его и режут. Каждый день — операция. Полбарака резали. Ну, одного они все ж поймали. Он все признаки сказал, а его врач и спрашивает: «На каком, — говорит, — ты боку спишь?» А он и скажи: «На левом», — говорит. «Иди — говорит, — отсюда, симулянт». А там оказывается, на левом спать — он еще хуже болит. Кишки как-то там натягиваются. «Иди, говорит, — отсюда, симулянт».

— Тащи еще пиво, — сказал Витек белобрысому с выемкой на носу. — У тебя вроде червонец был?

«Выемка» неохотно вынул аккуратный бумажничек.

— Я его разменял.

Я вынул рубль и положил на стол. Рубль взяли не сразу, и «выемка» с «сереньким» пошли за новой бутылкой марганцового портвейна.

— А помнишь, у нас война была? — сказал Витек. — Поверишь, по шестьдесят человек выходило с ножами, с палками, с обрезам — кто с чем. Ярцевские на городских. Драка была — что ты. Шесть человек в больницу отвезли.

— Тут у нас как, — сказал Юрка, — в Ярцеве парк и в городе — парк. Там танцы и тут танцы. Ярцевских поймают в городе — бьют. Городских в Ярцеве бьют. Городские меньше чем по семьдесят человек в Ярцево не ездят. Вдесятером там делать нечего. И те так же... Ну и драка же тогда была. На суде потом только спрашивали: «Видели, как этот дрался?» — «Видели». — «Три года». — «А этого видели?» — «Видели». — «Два года». Так гребли, за милую душу...

— А помнишь, — сказал Витек, — парк хотели закрывать?

— Это из-за студента, — сказал Юрка. — Студента одного тогда ножом пропорол и в пруд скинули.

— На смерть? — сказал я.

— Нет, просто так порезали, — сказал Юрка. — Ну, девчонки из общежития вызвали скорую помощь. И пошло дело. У него мать оказалась партийная. Шум подняла. Из области понаехали. Думали парк закрывать.

— Да, было время, — сказал Витек, — я тогда без ножа из дома не выходил. Всегда с ножом. А теперь вот боюсь. Как пьяный «мусора» увижу, так бежать. Не хочу опять в зону. Надоело. Я ведь в пятнадцать лет первый разряд по баскетболу имел. И по плаванию. Меня в техникум без экзаменов брали. Знаешь, какой парень был... А потом стал закладывать, и пошло...

«Выемка» и тот, «серенький», притащили еще одну ноль восемь. Я опять отказался от

стакана и купил себе еще пива.

— Давай познакомимся, — сказал Витек, когда я вернулся с кружкой. — Я ведь думал, ты Юркин друг. Мы еще раз церемонно пожали друг другу руки. «Выемка» разлил портвейн, и они выпили.

— А помнишь, как с солдатами дрались? — сказал «серенький».

— С солдатами драться не надо, — сказал Юрка. — Чего с него взять. Он по своей воле, что ль, сюда приехал? Это еще хуже, чем в зоне. Там ты хоть знаешь, за что сидишь. Украл, убил или там подрался. А солдат — чего? Приходит он домой, а ему повестка: кружка, ложка и поехал... Чего его бить, он не виноват.

— Нет, — сказал Витек, — я тебе говорю: с солдатом лучше не вяжись. Шел я тут мимо части ночью. Смотрю, солдат девку у забора наладил. Я его за плечо, говорю: «Я — второй». А он мне: «Пошел ты...» — говорит. Я ему в рожу. Он мне. Ну и понеслась... Тут я наверх глянул, через забор еще лезут пять рыл. Ну, я — бежать. Откуда только ноги взялись... С солдатом лучше не связывайся.

— А чего с ним вязаться, он не виноват, — сказал Юрка.

— А ты сам кем будешь? — спросил у меня Витек. Пришлось представиться. Витек свистнул.

— Это хуже чем прокурор,

— КГБ, что ли? — сказал «выемка».

— Хуже, — сказал Витек.

Тут я попросил разрешения как-нибудь отыскать его, чтобы потолковать по душам.

— Х... с тобой, — сказал Витек, — приходи. Только пораньше приходи. Вон Борька меня почему сегодня поймал, он в полседьмого пришел. Я еще сплю. А так бы ни х... он меня не нашел. Я уж пошел шляться. Я жене зарплату до копейки приношу. Девяносто рублей. Я ее никогда не обижаю. Ограблю кого или там что — ей всегда пятерка, десятка. Она мне только говорит: «Не надо мне твоих никаких денег. Только ты не пей». А я не могу. Как стакан попал, так все... Дочка у меня два с половиной года. Любит меня, ужас как. К ней не идет... «Я, — говорит — к папе». Я иной раз по пьянке думаю, повеситься мне... «Мне, — говорит, — денег твоих никаких не надо, не ней только... Ты на себя посмотри, весь ты порезанный, поцарапанный... То ты с ножом идешь, то с молотком, то с топором...». Ну, х... с тобой, приходи... А только я не думал, что ты это... Я думал, ты из щипачей.

В четвертой кружке пиво оказалось каким-то водянистым и кисловатым на вкус. Я с трудом допил и поднялся из-за стола. На прощание Юрка сам мне вручил свой адрес.

— Заходи, — сказал Юрка. — Особенно летом. В июне. У меня не дом дача. Раздевайся, загорай. Клязьма — рядом Яблонь у меня тридцать штук, а вишен не счесть. Заходи.

Я еще раз пожал руки всем четверым и вышел на солнечную мартовскую улицу.

1971

Да, да, красные портьеры...

Красные портьеры — привычная перегородка между тюрьмой и волею...

Это я знаю, это я хорошо знаю, ЧТО такое...

Кафе «Алатр», Тверская улица, тут же сразу — по правой руке...

По-моему, июнь девятнадцатого... Да, июнь...

Дежурным в тот вечер был Фабий Кусевицкий. Я сидел там с двумя приятелями (оба уже покойники), пили мы кофий невесть из каких помоев и кушали картофельные пирожные — мерзость невообразимая. Но ведь богема, богема...

Фабий с подозрительной официальностью приблизился к нашему столику, но склонился весьма доверительно.

— Вас просят в вестибюль... Всех троих...

И дальше — как в страшном сне, все предчувствуешь, предвидишь, но нету сил, невозможно уберечься...

Мы послушно двинулись за ним, обходя столики.

А уборные были у них отгорожены от вестибюля суконными занавесками, красными портьерами, и там — в соблазнительной узенькой щелочке — я разглядел кожаные куртки... Вот оно...

Сукно раздвинулось.

— Ваши фамилии? Документы? Вы арестованы...

И вот нас, троих дураков, едва ли не с почетом водворили на двух извозчиков, заранее уже зафрахтованных... (Ах, как они в то время еще были предупредительны, почти любезны!)

И покатили мы по Камергерскому, по Кузнецкому мосту, тут ведь совсем близко — до моей гимназии рукой подать...

Допрашивала меня женщина. (Чуть не написал — дама.) Лет тридцати, стриженная, вся в коже. Обвинение оказалось совершенно бредовое. Будто бы мы трое, сидя каждый вечер в кафе «Алатр», вербовали там людей и отправляли их на фронт, в помощь Деникину...

(До сих пор ума не приложу, какой идиот мог сочинить этот бессмысленный донос.)

Товарищ в коже изъяснялась крайне просто: — Подтвердится — высшая мера, не подтвердится — выпустим.

Странно, что камеру на Лубянке совсем не помню. Впрочем, и сидел-то я там всего трое суток — только что оброс да обовшивел.

Хорошо запомнил Бутырку.

Довольно дикое впечатление — роскошный какой-то барский вестибюль, лестница, коридор очень светлый, чистый и просторный, но с одной стороны сплошь серые двери... Они распахивают такую дверь, и...

В камере нас было человек девяносто. Нары справа и слева, два окна, от простенка узкий проход в направлении двери...

На ночь с одних нар на другие перекидывались доски, проход уничтожался, и получалась

сплошная лежка... Ночью к параше не проберешься, чтобы не наступить на чью-нибудь ногу или руку...

А передач они принимали в то время сколько угодно. Можно было получать даже книги... Я там, помнится, сидя на нарах, под окошком первый раз прочел подряд всего Достоевского. С чувством, с толком, с расстановкой...

А через месяц в одной передаче вдруг обнаруживаю книгу «Нервные дети»... (У папеньки тогда еще не атрофировалось чувство юмора.) Стал я разглядывать этих «Нервных детей», и сзади, где цена обозначается, нашел карандашом написанное число — 182...

На сто восемьдесят второй странице иглой были отмечены буквы:

е-с-т-ь-о-р-д-е-р-о-с-в-о-б-о-ж-д-е-н-и-е...

Мне тогда неправдоподобно повезло. Уже в сентябре девятнадцатого, после взрыва в Леонтьевском, они объявили красный террор, и всех узников, кто числился у них КР (контрреволюция), всех до одного поставили к стенке.

Так погиб мой двоюродный брат, сын тети Лели.

Я частенько задаю себе вопрос: почему же я все-таки уцелел?

Отчего дело со мною у них ограничилось красными портьерами и вообще той вегетарианской отсидкой девятнадцатого года?

Может быть, потому что я всегда был себе на уме?

Или потому что никогда не лез вперед?

Помню, как в самые что ни на есть тридцатые годы встретил я на улице своего университетского приятеля. Оказалось, он еще даже не забыл латынь...

В ответ на мое — «как живешь» — он вдруг наклонился ко мне и шепотом сказал в самое ухо:

— Non cogito ergo sum.

Но ведь там, на углу Лубяки и Фуркасовского, исчезли все — умные и глупые, скромные и выскочки...

Так в чем же тут дело? Со мной...

Слепой случай?

Просто папка с делом в шкафу затерялась?

Назад завалилась, к стенке...

Хе-хе — к стенке!..

Я стараюсь теперь никогда не ходить по Лубянке...

Я избегаю Мясницкую и Милютинский...

Но как-то раз весенней ночью занесло меня на бессмысленную площадь, которую они себе там устроили. И вдруг мне померещился монумент...

Было это тоже довольно давно. Я еще жил в Москве, еще ходил к ним в должность, но шашлычник к тому времени уже подох и лежал в паноптикуме. А резвый его преемник как раз тогда давал мертвецу знать свое колье-то...

И вот той светлой ночью представился мне на этой площади невероятных размеров недостроенный (неприменно недостроенный!) обелиск, сложенный из камня и кирпичей, сейчас составляющих их дома. Не только эти — высокие, главные, но и все те незаметные, где они пошли метастазами и по Кузнецкому, и по обеим Лубянкам...

Да, да взорвать бы их все в одну прекрасную ночь — ведь есть же инженеры, есть же такие способы, чтобы дом рухнул, осел, не потревожив даже спящих соседей...

И сложить бы обелиск в память всем сгинувшим со света в этом самом месте...

И пусть он займет всю их площадь...

И не надо никаких надписей, не надо никаких слов...

А вот и первая смерть, первая ласточка...

В душном и грязном городском автобусе три рейса подряд ездил пьяный. Он заснул и никак не мог прийти в себя...

Кондукторше это надоело, и она приказала шоферу ехать в милицию.

Водитель лихо подкатил прямо к «приемному покою», тормознул — пьяный свалился с сиденья и растянулся в проходе...

В автобус вошел наряд.

Милицейские потащили его, применяя популярные способы отрезвления дергали за волосы, терли ладонями уши...

Приволокли в вытрезвитель, а это был уже мертвец...

Вася Дыль-дыль умер прямо за столом в своем полуразвалившемся доме...

На клеенке валялся граненый стакан, раскинулись руки и буйная головушка...

Геройский орден свисал с лацкана вертикально вниз, и, когда в дом явилась милиция, звезда слегка раскачивалась и крутилась на своем золотом колечке...

Есть, конечно, еще один способ справиться о моем бывшем соседе. Есть тут такая тетя Паша — консьержка, она же при лифте, она же убирает лестницу, она же все, решительно все знает о нашей этажерке и ее обитателях... Можно было бы у нее спросить...

Не знаю... У меня какое-то подсознательное предубеждение против всяких о нем расспросов... Мне как будто даже хочется продлить это состояние неопределенности... Наверное, чтобы не натолкнуться на какую-нибудь ужасно пошлую прозу.

Да, тетя Паша, тетя Паша... впрочем, по возрасту она мне скорее годится в племянницы, нежели в тетушки.

А кишиневский мой период, по счастью, почти полностью совпал с нэпом... (Но, слава Богу, кончился не так трагически.)

Бог мой, это было похоже на волшебство — в страшном, мертвом оцепеневшем городе вдруг запахло свежим хлебом, в один день открылись булочные, кафе, магазины, покатали лихачи

на дутых шинах, из-под земли явилась роскошная контрабанда — ажурные чулки, бритвы жиллетт, духи из Франции, кофий, вина, ликеры, коньяки...

Самым первым, пожалуй, возник из небытия кафе-ресторан «Гротеск» в Столешниковом переулке. Держал его пожилой тучный еврей, официантки у него были очень красивые, да и кухня отличная... «Гротеск» закрывался в двенадцать часов, и частенько оттуда перебирались в ресторан Вольского, тут же за углом, Петровка, 17. В третьем этаже, бывшая огромная барская квартира...

А в тот вечер компанию нашу составляли человек что-то десять или двенадцать... Были и дамы., моя пассия и наш муж... У Вольского куражились, наверное, часов до четырех, и тут вдруг решили ехать в Петровский парк, к цыганам... Послали за лихачами, расплатились... Кто-то заметил, что путь далекий — через всю Москву, на санях, и мы стали брать со стола еду на дорогу... Я взял бутылку спирта, подумал и сунул в карман шубы маленькую кофейную чашечку, чтобы было из чего выпивать, пока едем...

Дорогой действительно пили, переговаривались, обгоняли друг друга на сонных улицах и незаметно прикатили в парк...

Долго ломались, стучали в дверь какой-то избы, пока не вышел к нам мужик босиком и с всклокоченной бородой... Отпустили лихачей, толклись на снегу, и наконец мужик снова появился — на этот раз в сапогах и подпоясанный. Прошли за ним в просторную горницу — чисто, лавки, стулья. Вышла заспанная хозяйка, стала собирать на стол...

Хозяин надел армяк и ушел, а мы расселись прямо в шубах, стали выпивать и ждать...

...и вот — одно из чудес моей жизни — чашечка, та самая хрупкая гарднеровская чашечка, которую я тогда прихватил в ресторане Вольского, цела до сих пор. Она много мне послужила в те баснословные года, так и жила в кармане шубы, и через нее проследовал не один литр спирта...

Мне достаточно сейчас подняться и подойти к посудному шкафчику, чтобы достать ее, пыльную, со второй полки... Она зеленоватого, болотного цвета, фарфор очень тонкий, если поглядеть на свет — отдает даже в голубизну... И мне всегда кажется, что это — голубизна далекою зимнею утра...

...а мы сидели в той избе, на столе — спирт, соленые огурцы, капуста, моченые яблоки, и вдруг издалека откуда-то донеслись гортанные голоса и смех, и аккорды, и скрипучие по снегу шаги, приближаются, приближаются, и вот уже вошли цыгане — ввалились с Улицы в цветастых шалях, в хромовых сапогах, со своими смуглыми гитарами, с жемчужными улыбками, с золотыми серьгами...

КЛЯЗЬМА ТРОНУЛАСЬ

— Время это так было около четырех часов. В середине апреля. Нет, в конце, Клязьма уж тронулась. Мост, я помню, уже убрали, но еще машины шли. И вот часа в четыре звонят в милицию из больницы. Доставлен председатель Удольского сельпо с ножевыми ранениями в лицо. Преступление есть. Я старший следователь. Надо ехать. А как ехать, когда Клязьма уж тронулась?.. Мы когда подошли к мосту, с понтона только одна доска метров десять. И вот так она ходит вверх-вниз. Надо идти. Участковый у меня в сапогах, а я в ботинках. Ну, перешли. Там уж лошадь ждет и возчик. Поглядел он и говорит: «Ты в ботинках не пройдешь. Вон участковый в сапогах, он пройдет. Бери, говорит мне, — лошадь, садись и езжай на

Иваниху и Золотуху. А мы, говорит, — пойдем пешком». Ну, сел я в кошелку, поехал по дороге. Доехал до Иванихи. «Как, — спрашиваю, — мне попасть на Золотуху?» — «Прямо, говорят, — через озеро». Доехал до озера. А там вода Лошадь зашла, только седелку вижу да голову. Плывет ли, идет ли — не знаю. Я — назад. Вытащил лошадь. Тут, гляжу, идет почтальон в резиновых сапогах. Я его и спрашиваю: «Где дорога на Золотуху?» Он говорит: «Только, — говорит, — через озеро». Сел он тоже ко мне в кошелку, тронули мы. Но-о, милая... И тут вода в кошелку как хлынет... И мы оба по пояс в ледяной воде. Переплыли мы так-то, а уж на той стороне, на гриве, на бугорке три уж лошади ждут. Я все себя снял, выжал одежду, штаны, кальсоны. Сел на другую лошадь, и тут уж мы благополучно доехали в самое Удолье. И сразу идем в контору сельпо. Там бабы, мужики курят, матерятся. Все ждут советскую власть. И участковый уж там. «Вот, — говорят, — его теперь, сукина сына, накажут». А преступника тут нет. «Он, — говорят, — у любовницы». Пьет. Говорит, все ему нипочем. Говорит, Клязьма тронулась, теперь ни один дурак ко мне не сунется, не приедет. Я, говорит, теперь здесь главенствую. Что хочу, то и сделаю. Пьет, и бутылка у него там, у любовницы. А я в сельпо и говорю: «Бабы, выручайте, мне штаны надо, кальсоны...» Гляжу, уж все тащат. Штаны и валенки с галошами. Я надел все, а мое они сушить у печки повесили. А мужики тут вокруг сидят пьяные. Матерятся, курят. А мне брюки, кальсоны и валенки надели за первый сорт. Но наручники у нас с собой. Мало ли что он может начудить. Деревня ведь. Ну, как оделся, говорю: «Где он?» А мне бабы говорят: «Вон, через дом. Он тама пьянствует». А сами все боятся. Он им говорит: «Клязьма тронулась, теперь — все! Я вас тут всех!..» Ну, мы тут же с участковым пошли в тот дом. С оружием, конечно. Может ведь оказать сопротивление. Пьяный... Входим в дом, женщина в дверях встречает. «Не ходите, — говорит, — он злой. У него, — говорит, — ножик». Ну, входим мы, а он только нас увидел говорит: «Вота вы. А я вас не ждал... Клязьма, думаю, тронулась». Никакого сопротивления даже не оказал. Ну, взяли мы его и ножик взяли. На нем и кровь. А так-то он молодец. В одной руке бабу держит, в другой ножик. «Не подходи, я тут главенствую!..» А нам никакого сопротивления... Ну, там и матом лаются и бабы и мужики. Бабы там — во задница, сиськи во, лапа... Одна, я видел, с мужиком чего-то у них получилось. Он ее матюгами, а она как ему двинет. Так он с крыльца и полетел кубарем. Пьяные ведь тоже все... Ну, привели мы его в сельпо безо всякого сопротивления. Только что матом очень лаялся. «Как это вы? говорит. — А я ведь вас не ждал». А уж и ночь. Я тут всем говорю: «Идите, говорю, — спать». А сам сел допрашивать. А он у меня в углу сидит и матерится. А я ему: «Си-ди!» Он только вскочит, бросится, а я ему: «Си-ди!» Ну, и допрашиваю. А тут сестры его крутятся: «Тише, Леша, тише...» А он: «Я их сейчас!..» Ну, я ему тут наручники. Он же пьяный. Говорю: «Си-ди!» Ну, допросили мы его. Люди тут уже поразошлись. А он в наручниках все больше чудит... А тута мужик приходит знакомый. Говорит: «Вы, — говорит, отдыхать будете?» Я говорю: «Будем. Только по очереди». Я участковому говорю: «Иди, спи до двух часов». А он говорит: «Поить ведь будут». А я ему: «А ты пригубь не больше ста пятидесяти и в два часа будь тута». А этот все чудит. Ну, я взял у него один наручник, а в стене здоровенная скоба, я его — к скобе. «Си-ди тута!» И лавку ему придвинул, хошь — спи. А у них лавки широченные. «Вот, — говорю, — тебе и кушетка. Спи, — говорю, — как у тещи в гостях...» Ну, в два часа кварталный мой, Санька, пришел, как штык. И я тоже в этот дом пошел. Там закуска, угощают. Как же, советская власть! Я тянул два вот таких-то стаканчика и спать. Наутро прихожу в сельпо. Участковый там. От стены он преступника уже отстегнул. Протрезвел преступник. Сидит он, башка у него болит. Присмирел. «Вот, — говорит, — вы — псы мировой революции явились». Так-то он нас назвал: псы, говорит, мировой революции. Ну, тут приходят мужики, родственники. Все — кум, брат, сват. «Надо, — говорят, — проводить его в дом. Пусть, — говорят, — закроет все. Чтоб был порядок». Ну, надо идти. Приходим мы к преступнику. У него в доме два стула, стол, лавка и кровать изо всей мебели. Все продал, пропил. На кровати драный матрас, одеяло и подушка. Уж не знаю, какого она и была цвета. Он все пропил. Только оставил, что считал необходимое. И только кошка у него голодная больше ничего. Ну, в дом набилось мужиков, все они с водкой. «Давайте, — говорят, — выпьем. Вы же — советская власть, выпейте, говорят, — с нами». Пришлось выпить по сто пятьдесят. «Не выпустим, говорят, — иначе. Мы, — говорят, — сейчас отдыхаем. Время, —

говорят, такое, Клязьма тронулась. Нам ни пахать, ни рыбачить. Не выпустим, и все тут». А потом и говорят: «Можно, — говорят, — ему, преступнику, пятьдесят грамм?» — «Нет, — говорят другие, — надо ему сто. А то у него голова болит». Ну, пришлось разрешить. Выпил он это и тут забегал по дому. А они его схватили. «Си-ди! — говорят. — Харю набьем! Тебя, — говорят, — за дело взяли. Ты, — говорят, — стерва. Мы тебе, — говорят, — дали из-за того, что у тебя, сукина сына, голова болит». И все один мат тама, все с матюжками. «Ну, — я говорю, — нам надо ехать». Мне говорят: «Три уж лошади ждут». Я говорю: «Куда мне триста?» Говорят: «Надо». Дошли до сельпо. Тама три лошади. Первая — кошелка. Для меня, для следователя, чтобы ехал, как урядник. Уже все мое высушили, да бабы выгладили. Ну, оделся я, и ботинки сухие. «Но, — говорят, — уже нельзя озером ехать. Надо ехать только гривами, а там далеко». Сел я в первые сани. Во вторые сани квартальный мой, преступник и возница. В третьи депутат, мужики и сестры его. Депутат на первом месте с возницей рядом. Он ему, преступнику-то, двоюродный. Правит тама всем. «Я, — говорит, — тута хозяин». А всего четыре класса. Деревня. Доехали до Заборочья. Мой возница у магазина стал. «Чего, говорю, — ты?» — «Тех, — говорит, — подождем». Подъехали. «Тут, — говорят, — будем прощаться». Пошли за водкой. Преступник один, как сурок, в сене сидит. И квартальный сзади высится. У меня — никуда. Вытаскивают они водку и прямо в деревне посреди Улицы начинают пить. Подносят мне первый стакан. «Выпей, — говорят, — у нас, — говорят, — иначе нельзя». Жареная рыба тут у них откуда-то взялась. Потом участковому моему подносят. Потом сами. Потом говорят: «Можно, — говорят, — ему пятьдесят грамм?..» Пришлось разрешить. Он, преступник, выпил, только крякнул. «Братцы, — говорит, — а ведь меня увозят все дальше и дальше. К тюрьме, — говорит, — к Клязьме». А они ему: «За дело и увозят. Посидишь», — говорят. Ну, опять и поехали все. Подъехали к Клязьме. Мы с квартальным свистим. На той стороне видят, что милиция. А уж лед идет вовсю. Кричим: «Давайте лодку!» Ну, лодка тут плывет, идет между льдинами. А они все, мужики, его тут целуют. «Прощай, — говорят, сиди». — «Лет ведь пять тебе дадут». — «И за дело». — «Прощай, — говорят, Лешка». Ну, тут лодка подплыла. Сели мы: преступник, квартальный и я. Тут я все-таки на него наручники надел, А то — что у него в голове? Сиганет он с лодки. Ему — чего. Я ему говорю: «Си-ди! То-то!» А то ведь он в ледяную воду прыгнет. А лодка идет, качается. Льдины кругом. Тронулась Клязьма-то. Ну, кое-как доплыли мы до берега. А тама будка. Я в милицию позвонил, и тут же нам машину прислали... И здесь уж он прямехонько в тюрьму... И вот сколько это времени прошло? Значит, вроде день один. Сутки. Точно сутки...

август 1970

Ага! Опять — красные портьеры...

Нет, тюрьма определенно гипнотизирует, тянет его...

Кабы беды не было...

А может, это и к лучшему?

Тюрьма — известная русская Ипокрена.

Бог мой, не всегда же я был таким медведем, не всегда сосал лапу в своей берлоге... Нет, были когда-то и мы рысаками, и мы бегали, носились по всей Москве... Пожалуй, любил я только Моцарта, консерваторию, концерты... Оперу, балет — гораздо меньше. А к драматическим театрам, как ни старался себя приучить, всегда испытывал непреодолимое отвращение.

Дама моя, будущая салонодержательница, частенько таскала меня в Камергерский, и я честно там скучал целыми вечерами. Особенно удручающе на меня действовали пьесы Чехова. Я их все видел на сцене и читал, наверное, по несколько раз, но так ничего и не помню — кто Астров, кто Раневская, кто Шкап, кто Вершинин... Все в голове перепуталось. Помню только его любимый драматический эффект, в последнем акте там непременно кто-то самоубивается за сценой — не то какая-то птица, не то какой-то доктор медицины...

Я теперь почти ничего не читаю.

Книги мои лежат до сих пор нераспакованные — с самого переезда, как я укладывал их еще в Москве — в картонных ящиках из-под макарон и сливочного масла. Теперь они составляют унылую кучу в углу комнаты, и, как видно, пребудут в незавидном этом состоянии до того самого дня, когда племянницы мои две и, естественно, наследницы — заезжанные, уже немолодые советские мымыры с опущенными животами, когда они, бедняжки, ринутся сюда прямо из крематория и начнут метаться между посудным шкафчиком и этим углом, между Кузнецовым, Гарднером и Сытиным, Сайкиным, Марксом (не Карлой, не Карлой) и метание это составит для них несколько часов живейшего наслаждения.

На поверхности у меня очень мало томов. Пушкин, Баратынский, Гоголь, Тютчев, кое-что из Бунина и Достоевский — тот самый полный марксовский, что сидел со мною в Бутырках. (Толстого не выношу. Старый павиан — избрал себе ампулу проповедника.)

Достоевского чаще всего листаю. Весов, Подпольного человека... И это уже получается не чтение — я почти все те места наизусть знаю — это уже род какого-то мазохистского растравления собственных язв, чему не подберу сейчас точного наименования...

Заносит меня временами и в Дневник писателя... Тут уж я то взвизгиваю от восторга, то готов разодрать книгу в клочки, затолкать ее в диван, туды ее, туды, ему в подкладку...

Что за тупость! И на одной странице с такими озарениями...

Как это в одной голове, в умной голове уживается Христос с империализмом?..

Эх, разбудить бы его сейчас, этого полупровидца, поглядел бы он, великий путаник, как бесы, те самые бесы, выхватили ловко у него самого его же бредовые идеи... Поглядел бы он на нынешнее всеславянское братство, на Прагу да на Варшаву, на то, какого рода мессианская идея гоняет по всем четырем океанам армады бронированных страшилищ с русским экипажем на борту...

Христос и империализм?

Да не то что бы Он и империализм были совместимы, но и Христос и патриотизм и то — глупость, чудовищная несообразность — несть эллин и иудей!

Я не много в моей жизни читал Евангелие, оно и сейчас у меня пылится где-то в ящике из-под макарон, но кое-что я все-таки усвоил. Христос родился и прожил жизнь в стране, поработанной римлянами. Он был распят легионерами, но ни разу слова не сказал, пальцем не шевельнул, чтобы переменить такое положение... (Хотя, кажется, эти еврейчики только того от Него и ждали.) А Он велит им исправно платить подать ненавистному кесарю...

Вот тебе и патриотизм! Вот тебе и национально-освободительное движение малых наций!

Ума не приложу, как эти, наши, ухитрились в свое время пристегнуть Христа к своему квасу?..

Эх, поговорить бы об этом с умным человеком...

Только негде мне такого собеседника взять... Не с соседним же сосунком мне обсуждать эти материи. (Да и он, вот видишь, куда-то запропастился.)

Нет, мне нужен из них кто-нибудь самый главный и бесспорно честный... Сергия бы Радонежского об этом спросить, вот кого...

А на меньшее — я не согласен.

ОТЕЦ МИХАИЛ

— Ну, чего глядишь? Чего смотришь?.. Тут ведь церква была, острожная церква. А теперь тут милиция, вон участковые сидят. Она, церква, без колокольни так и была, вроде как без главы... Так-то колокола висели, а главы-то не было, и паперть под ней... А внутри она, так-то небольшая церква, вся без колонн, целиковая. Один Алтарь. И священник тут один — отец Михаил. Старый был старый, а прозорливый... Вот и слушай, слушай, коль охота... Тогда еще была русско-немецкая первая империалисти-ческая война. Аккурат в половине сентября пятнадцатого года. И вот пятнадцатого-то сентября поступил тогда манифест-то от императора, от Николая... Дескать, Божию милостью, Мы, Николай Второй, Царь Польский, Царь Астраханский объявляем всем нашим верноподданным, дескать, коварный враг Германия напала на Советский Союз... то есть тогда еще на Россию, а поэтому, дескать... Не помню уж, как тут высказаться... Приказываю мобилизовать всех ратников второго ополчения... А я-то аккурат был ратник второю ополчения. Значит, и мне приходится служить. И было мне в то время тридцать два года, в шестнадцатом-то уж году... Двадцать шестого числа марта месяца мы и приехали с женой сюда, в город. Ночевали тогда в постоялом дворе. Двор Березина — на самом базаре. Аккурат угольный-то дом. Ну, по тому времени, конечно, постоялый двор. Кроме ночлегу наверху у него была чайная... В шесть часов утра у него был подъем, а полседьмого можно уж идти наверх, чай пить в чайную... Отпивши чаю в семь часов, пришлось нам с женой идти в военное присутствие, где принимают... Ну, вот, придя туда, узнаем, что приемка у них начинается в девять часов. Ну, чего делать? И вот в свободное-то время зашли мы с женой аккурат в эту церкву. В острожную церкву. И служил тут священник, старик лет восьмидесяти, как не больше... Отец Михаил... Молилось тут женщин-старушек человек вроде того двадцать-двадцать пять. Ну, служба кончилась, начал этот священник давать Крест. Выждал я, как приложатся все старушки, и так-то последним подошел и я ко Кресту. А жена сзади, за мной... Приложился и говорю ему: «Батюшка, благословите послужить на службу...» И вот, несмотря на его старость, после моих этих слов он вроде как выпрямился и взглянул на меня таким прозорливым взором, что я не мог устоять на этом месте. Пришлось сдать шаг назад. И вот он, священник, сделав крест, поднял руку и говорит: «Благословляю, Федорушка, послужи, послужи... Ведь тебя Федором звать-то?» Которого я не видал сроду, а он называет меня по имени, Федором... Ни я его, ни он меня сроду не видались, не знали... «Надо, надо, — говорит, — постоять за Веру, Царя, Отечество. Благословляю, благословляю! Ведь война пройдет недолго, недолго. Конец ей близок, близок. Вы уж были там, вон сколько там народу-то... И все идут, все идут...» Это — в присутствие-то. Вроде он с нами не был, а как будто там и был. Потом подходит под благословение жена. Со слезами на глазах. Он благословил и говорит: «Не плачь, не плачь, молодуха, Бог милостив...» «Батюшка, — говорит, — у меня больно детей-то много. Свекор параличной, свекровь-старуха семьдесят лет. С кем я буду работать? Все мал мала меньше... Старшей семь лет, а их пятеро...» — «Бог милостив, — говорит, — Бог милостив. Все сработается, все сработается это...» И опять повторил: «Войне-то конец близок, близок». Жена и говорит: «Батюшка, уж как на войну-то угонят, за день человека могут убить али искалечить. Может, придет калекой?..» Опять повторяет: «Бог милостив. Его на войну-то не пошлют. Он будет служить на окраине большо-ого города. Вот только сначала-то подольше, а

потом частые, частые будут свидания». Тут он, отец Михаил, поднял вторично руку и благословил второй раз. И тогда уж я с полной надеждой вышел из церкви, от него. В душе уж был уверен я. С какой-то особой надеждой. По первости-то тогда угнали нас в Орел. УЧИЛСЯ я там, в Орле, два месяца А потом по особым спискам всех, кто что может работать, вызвали в Москву. Я как медник, паяльщик по профессии, служил на Преображенской заставе в Москве. Во второй запасной автомобильной роте... Аккурат на окраине большо-ого города. Все так оно и вышло. А на второй-то год уж и свидания, они у нас частые пошли. Через воскресенье. На пятичасовой поезд, на вокзал, и в ночь уж я дома... А служил на Преображенской заставе, до вокзала мне чего тут?... Да... Ну, возвратился я тридцатого апреля домой, это уж в восемнадцатом году. Побывал тогда у отца Михаила, поблагодарил его за прозорливость... И был я ему знаком до двадцать восьмого года. До его смерти в аккурат. Уж церкву-то эту нарушили, он там наверху, в Яропольи служил, у Троицы. И на дому я был у него не раз. Вот тут прям на горе домишко, по левой руке... Окошка четыре в улицу-то. Раз десять ли, двенадцать был у него. Жена тоже ездила, и жену, покойницу, он принимал. До двадцать восьмого года. Но уж он напутствовал, лежал. Не вставал. Уж не принимал которых... Вот, помню, в двадцатом году. Неурожайно у нас было тут, и пришлось нам ездить за хлебом в разные губернии. В Нижегородскую. Туда, как поехали, я еще не заходил к нему. А было нас два компаньона, был еще сосед. На обратном пути, когда мы ехали из-под Арзамасу, где мы меняли иконки на хлеб, я зашел к нему, к отцу Михаилу... Ну, посоветоваться, навестить просто. Поговорили мы с ним так с полчаса А на прощанье он мне и говорит: «Товарищ твой вторично поедет за хлебом туда же. А уж ты с ним не езд, не езд.

Советую: не езд». Даже по плечу похлопал. «Я уж прошу тебя Федорушка, не езд. А то получится нехорошо... Как бы смертельно не получилось... Он съездит, а ты не съездишь. Вот запомни, так я советую». Ну, прошло время, товарищ-то уехал, а я остался. Сдержал свое слово, обещанное ему. Сосед вернулся, да и говорит. Наменял он эта хлеб и поехал домой. Так вот утром., ну да, утром, догоняют трое на санях. Ну, комиссар что ли... Заставляют воротиться, ссыпать хлеб. А ему было лет шестьдесят пять ли, шестьдесят семь... Он стал просить, в ногах валяться у комиссаров-то этих. Семья, говорит, у меня очень большая, хлеба не хватает, приходится вот ездить... В ногах валялся и все ж упросил. Отпустили они его с хлебом. «Черт с тобой, говорят, — старый пес! Больше не езд!» Вот и говорит он мне: «Ладно, говорит, — что ты-то со мной не поехал, послушался отца Михаила». А то ведь наставляли ему револьвер в ухо, хотели застрелить... Все-таки умолил, упросил. Старый ведь. А я-то был молодой, мог поссориться... Так вот и пронесло. А кроме того, мне тогда он, отец Михаил, сказал: «Ты еще съездишь, съездишь... Не один раз еще съездишь». И вот в дальнейшем в январе два раза съездил я в Тамбовскую губернию, и третий раз съездил в Тамбовскую, уж в феврале... И жена моя покойница к нему ходила. И ее он принимал. Вот пропала у тестя лошадь. Кто-то увели ее. На площади гуляла она, на веревке привязана. Веревку пополам разрезал эту вор. Сколько ему надо было, этой веревки отрезал и увел эту лошадь. Тесть приходит за ней, убирать, а ее уж там и нет. Ну, вот дочь его, моя-то жена, ходила с матерью к нему, к отцу Михаилу. Спросить: как поступить? Где ее взять? Искать-то где?.. Он им и говорит, отец Михаил: «Да, случай нехороший, нехороший случай... Ну, Бог с ним, не разбогатеет и он. Нет, уж она назад, лошадь, не воротится. У вас пока есть лошаденка молоденькая, на ней и сработаете». И кто ему сказал, что другая-то лошадь есть? А у них была лошаденка. Держали они два года лошаденку. Ей уж третий год пошел... И откуда он узнал? Как колдун... «А уж ты не воротите, он уж передал ее на другие руки. Не воротите. Вот на молоденькой-то и сработаете потихоньку, сработаете». И еще раз потом жена с тещей ездили. Случай вот какой. Это уж в двадцать седьмом или в двадцать шестом, не знаю. Я тебе так расскажу. У жены-то была сестра выдана на Кавказ. Она хоть за здешнего, а они на Кавказе торговали. И вот с двадцать пятого года, когда начали прижимать торговцев-то, во время нэпа, вот мне свояк и пишет: «Начинают обкладывать». Пишет: «Посоветуйтесь, сходите к отцу Михаилу. Куда нам деваться? Что делать?..» Вот они тоже ходили. Обсказывали, вот, дескать, так-то и так-то. А он, отец Михаил, говорит: «Да-да,

торговцы будут признаны. Всех торговцев разорят, а может, которые и пострадают». И посоветовал: «Пусть соберутся и ночью уедут. Пусть возьмут, что только могут, и уедут. А то разорят, разорят». Ну, мы им и написали. Получили они письмо... Да еще никто не согласился везти. Забрали они кой-чего в узлах. Серебра было много. Тогда целую меру рублей — они тяжелые — так и закопали в подполье. Дом тоже бросили, оставили. Только одежонку получше, поценнее. Так что сами-то убереглись. Ну, золотишко привезли, понятно. Захватили золото. А вот серебро-то не могли взять. Тяжело... А то жена ездила вот с соседкой. Тоже в марте месяце, в конце марта. Вода была... На третий день Благовещенья. Это было в двадцать. наверно... первом или в двадцать втором году, пожалуй что... Вот. У этой молодухи, вот у соседки-то... Она еще была молодая. Муж был в плену в Германии. В первую-то войну. И вот ее, конечно, сватали ее. Уж она хотела выйти, два года вестей-то не было. Она уж хотела замуж... Вот и поехала с женой-то моей. Мою-то жену он принимал... Посоветоваться, выходить ли замуж... А он, отец Михаил, и говорит: «Не думай, не думай!» — «Так ведь, батюшка, два года нет от мужа вести никакой». — «Ну и что поделаешь, что два года? Погоди с месяцок — будет и весть, будет. А еще пождешь месяц, так и сам придет тогда, сам придет». Ну, и весть-то получилась как. Был с ним в плену горьковский, нижегородской губернии солдат. А адреса-то они знали друг-други. Вместе были в плену. Вот когда их там из Германии отпустили, из плена-то, нижегородский-то приехал домой, да и пишет ему; «Петр Иваныч, — пишет, — поздравляю вас с приездом из плена...» А его-то и дома еще нет, а уж тот приехал. Сюда поздравляет, а еще тут не получили ничего. Вот это и первая весть. Аккурат в самую Троицу он и сам пришел. Ну, Троица-то уж в июне была... А ездили они на Вербной неделе во вторник. У меня у старшей-то дочки была скоротечная чахотка Жена тогда и говорит: «Вы, батюшка, помолитесь, дочка вот у меня хворает». А он, отец Михаил, говорит: «Знаю, знаю, я молюсь, молюсь... Но только уж она не выздоровеет. Невеста будет Христова Но я помолюсь, помолюсь». И вот ден через десять она померла... Да... Старый был, старый старик, худощавый, высокого роста В двадцать восьмом году ему уж лет девяносто было, когда помер-то. И похоронили его на старом кладбище перед Алтарем Покровской церкви. Все я хотел побывать на могиле-то, поклониться ему, отцу Михаилу, да так и не пришлось. Теперь-то уж и могилу там не найдешь, все нарушили... Вот так Бог и не привел побывать. Последний-то раз ходил я к нему в двадцать пятом году. Тоже посоветоваться. Вот задаю ему вопрос. «Я, батюшка, раньше по церквам работал, все больше на Урале. (А еще в те годы церкви-то не нарушены еще были.) Вот, думаю, опять сходить поработать туда же...» А он, отец Михаил, говорит: «Да, надо сходить, надо. А как тебя там поминают, как тебя там ждут. Сходи, сходи, Федорушка, благословляю, сходи». А потом и говорит: «А только ты туда не дойдешь. Ты будешь здесь работать, поблизости, поблизости». Вот я три года тут и работал — в Пестяхках, да в Ландихе, да в Ивановской области... А тут, как церкви нарушать стали, я так-то его и спрашиваю: «Отец Михаил, это что же — вере нашей конец?» — «Нет, — говорит, — Федорушка, нет... Вера православная не прейдет... Останется вера... Только мало будет верующих, мало...» Вон там, на горе, его-то домик, отца Михаила... Старушка у него в доме жила. Может, и еще кто жил, а в кухне одна только старушка была Придешь к нему днем, поднимешься... «Отец Михаил дома?» — «Дома, — говорит. — Я вот пойду скажу...» Пойдет старушка, скажет. Вот выйдет он в кухню. Поздороваешься, под благословение подойдешь. Он каждый раз тебя благословит. Это каждый раз бывает. Войдет. У него скамеечка. Так вот сам возьмет скамеечку. «Ну, давай, Федорушка, посидим, посидим...» На этой скамеечке посидишь с ним, с отцом Михаилом, поговоришь. «Ну, Федорушка, расскажи в чем дело? Как живете?» Все спросит. Я раз ему говорю: «Я вас, отец Михаил, считаю за прозорливого». — «Нет, Федорушка, не считай, не считай. Ко мне кто с открытой душой, я тем всю правду скажу, всю правду. А то ведь ко мне несколько раз на дню идут — кто с чем... И испытывать приходят, приходят. Вот тут давеча собираются ко мне идти, а сами между собою говорят: пойдем, дескать, со стариком поболтаем. Ведь все меня пытаются, все пытаются. Чего же я им скажу? Какую я им правду скажу, когда они меня пытаются, пытаются?.. Сели тут, я велел им ведро воды принести да палку. Поболтайте воду-то в ведре, говорю, поболтайте. Они глянули — да бегом... Чего я им скажу, когда они: пойдем, говорят, со стариком поболтаем. А я им вынес ведро да палку дал.

Поболтайте, говорю, поболтайте».

март 1971

Причина, по которой я никогда, ни на один момент не мог бы предаться большевикам, в сущности, одна-единственная — я атеист. Меня не может устроить никакой символ веры... А уж тем паче невозможно было мне поверить в их Вавилонскую башню, которую они к тому же строят так безалаберно и бестолково.

И самое, пожалуй, в них поразительное, что при такой патологической ненависти к Христианству они инстинктивно (от зависти, что ли?) его так по-обезьянски копируют.

Маркс у них., без сомнения, Моисей.

Энгельс — Аарон.

Юлианов — Мессия.

А Джугашвили, по всей видимости, апостол Петр.

И эта слепая вера в соборность, и эти бесконечные расколы, эти ереси и ересиархи, и эти широковещательные анафемы на грани площадной ругани...

И потом эти мощи под Кремлевской стеною...

Тождества эти настолько нешуточные, что я некоторое время тому всерьез опасался, как бы китайцы в один прекрасный день не хлынули бы отвоевывать гроб господен в Москве, на Красной площади,

Христианство — старый, старейший, самый солидный банк, чья контора должна располагаться непременно в Лондонском сити, в громадном особняке викторианской архитектуры, дивиденды вполне гарантированы...

Пожалуйста, вкладывайте ваши души!

Ну, марксизм — это так, банчишко, всегда на грани банкротства, дивиденды нетвердые, все пахнет каким-то шулерством, лопнет, не лопнет, но в любую минуту объявит себя несостоятельным, и ни копейки с него не получишь...

А мне не подходит — ни то, ни другое... У меня, простите, кубышка... Я душу дома, при себе держу.

Нет, конечно же, Православие, да и вообще Христианство, меня бы никак не устроило. Еще какой-нибудь капризный Естхозаветный Иегова, выбирающий себе фаворитов...

А тут — эта необходимость братаний, эти объятия с сопливыми нищими, эти лобзания с шершавыми антисептическими старухами.

Нет, благодарю покорно.

А ВОТ У НАС В ЯЛТЕ... В ЦАРСТВОВАНИИ ИМПЕРАТОРА НИКОЛАЯ II-го ЗАЛОЖЕНО ЗДАНИЕ ЗЕМСКОЙ БОЛЬНИЦЫ 1903-го г. 3-го ИЮЛЯ ПРИ ПРЕДСЕДАТЕЛЕ УПРАВЫ П. А. НЕРОНОВЕ И ЧЛЕНАХ И. Г. ПРОШЕНКОВЕ и Б. А. ШУМИЛОВЕ ОКОНЧЕНО В ОКТЯБРЕ 1905 г. ПРИ ПРЕДСЕДАТЕЛЕ УПРАВЫ А. П. НИКИТИНЕ, ШУМИЛОВЕ, ПРОШЕНКОВЕ И ПРИ

УЧАСТИИ СТРОИТЕЛЬНОЙ КОМИССИИ П. А. НЕРОНОВЕ, С. И. СЕНЬКОВЕ, Н. И. ЮШКОВЕ, А. В. ДЕМИДОВЕ ПО ПРОЭКТУ И ПОД НАБЛЮДЕНИЕМ АРХИТЕКТОРА С. К. РОДИОНОВА.

— Ты чего тут читаешь-смотришь? К кому пришел? С какого отделения? А то давай, я позову... Ну, как хочешь... Слушай, друг, будь другом, сходи за бутылкой... Тут рядом, сука, два шага... Мне в халате нельзя, мент прихватит, курва... Держи. Два рубля, падла, и рупь семьдесят мелочью... Ты не сомневайся, все точно... Пстой, погоди! У тебя котел есть? На твоих сколько? Двадцать минут? Х.. на могилу! Рано еще... Тут продавцы все суки, падлы до одиннадцати ни за что не продаст, такие вонючие, курвы... Башка трещит — не могу... Вчера пять стаканов зах. л; Буль, буль, буль, буль нештяк! К Мирке, к медсестре, курва, прихожу, а у нее спирт йодом разбавлен, чтобы, сука, не пили... «Налей стакан». Она смеется, падла, наливает: «Не выпьешь». Я ей: «Дай, курва, порошок аскорбинки — кисленький, закусить». — «Бери». Высыпаю в стакан, весь йод, падла, на дно, я: буль, буль, буль, буль — нештяк! Она, сука, полтинники выкатила... Еще тридцать минут ждуть... Поносный город, падла, водки с утра не купишь... А вот у нас в Ялте, курва, директор магазина Нинка была — когда хочешь бери, только, падла, плати... Помню, ее судили, смеху было... У нее мать, сука, померла и ей трехкомнатную квартиру оставила, а милиция, падла, хотела квартиру у нее оттягать... А ничего не сделаешь, курва, завещание... Ну, участковый на нее: «Ты проститутка!» Она на суде их понесла: «Ты, сука, видел, чтоб я деньги брала?» — «К тебе каждый день новый ходит». — «А твое какое дело? Я встречаюсь с отдыхающим, он меня удовлетворяет, а вам, б..м, завидно?» И матом их... «Я с вами, с местными, дела не имею, вы тут все бухарики!» И понесла, и понесла... Ну, пятнадцать суток ей судья дал, и х.. на могилу, квартира так ей и осталась... Или моя теща, курва, хотела меня выписать... У самой, сука, двенадцать комнат, а прописаны только она, Томка-жена, дочка и я... Она, падла, только сунулась туда: «Хочу его выписать». А они ей говорят: «Не суйся, а то он у тебя три комнаты оттягает...» Семь лет я там жил, сука, пока они, курва, меня не заложили... Вот где — жизнь! Это тут городишка, падла, паршивый... Там — кто в магазине, кто в санатории, кто на винзаводе, все комнаты сдают... Там деньги не считают. Червонец червонец летит, сотня — сотня... Там я из дома не выходил, чтобы у меня сто рублей в кармане не было... Помню, идем я и Игорек Пятак... Ему, сука, потом расстрел дали... Семнадцать лет парню — два метра роста, кулак с твою голову... Он тогда таксиста, курва, на смерть, кулаком ему зах...л нештяк! А как получилось? Таксист этот жену бросил. Молодая, падла, баба, дет двадцать семь ей, с другой снюхался... Ну, а той, сука, обидно, таксист! Они знаешь, как в Ялте имеют?. Ну, она к Игорьку, курва: «Пойдем со мной в ресторан посидим...» Ну, х.. ли, парню семнадцать лет: «Пойдем». Приходят... А она, падла, знала, что там муж ее гуляет с другой бабой... Ну, сидят они, она глядела, глядела на мужа и говорит Игорьку: «Если дашь ему сегодня в рожу, завтра я опять тебя в ресторан поведу». Ну, х.. ли, парню семнадцать лет... После кабака он за ним, сука, идет — таксист бабу уже проводил... Он сзади подходит: «Коля!» — «А?» — тот поворачивается, а Игорек ему х...к — в рожу!.. Два, курва, шейных позвонка сломал — нештяк! И Коля лежит с одного удара, И ничего у него никто не тронул, Эдик только, жиденек такой маленький, после уже котел золотой — часы у него снял... Ну, месяц прошел, полтора, падла, кто убил — неизвестно... Похоронили его, Иван Иванович, директор таксопарка, хоронил, таксисты все... И тут Эдик идет играть... Проигрывает все деньги Валентину, сука, и говорит: «Золотой котел за сколько дойдет?» Валька, курва, говорит «Полета». Эдик ему: «Мало». «Больше не дам...» Х... на могилу, проигрывает и эти полета... Идет, сука, домой, берет, падла, котел и отдает, курва, Вальке... И, м...к, не сказал, что котел этот темный... Валентин, курва, надевает этот котел и ходит... Ну, тут как-то бухарили, он попадает в милицию. Они там видят у него этот котел, номер — «Ага! Где взял?» — «Мой», — говорит. «Ах, твой?» — и х...к, шьют ему убийство... А тут таксисты узнают, что котел этот, сука, нашелся. Приезжают к милиции, запрудили всю улицу, на работу не едут: «Отдайте его нам!» Начальник выходит: «Тихо, — говорит, — еще ничего неизвестно...» Ну, Валентин видит такое дело, падла, шьют ему убийство... «Я этот котел выиграл». — «У кого?» — «У Эдика». Жиденка, сука, раз!.. Ну, он крутился, крутился, х...к — дали ему там как следует, подвели

м...е к бороде... «Мой котел, — курва, раскололся: — Это я его убил». Ну, милиция: «Кончай, М-..у-то смешить». Жиденок, сука, метр пятьдесят роста, а там два позвонка сломаны, в протоколе записано тупым орудием... Ну, он опять колется: «Это Игорек Пятак...» Ну, а у нас в Ялте, сука, все на виду... Садятся мусора в машину... «Куда едете?» — «Пятака брать...» Подъезжают они, курва, к дому, а там. уже таксисты стоят... А Пятак, сука, стоит в дверях с топором... Х...е, падла, делать? Один таксист говорит: «Я сейчас съезжу домой, привезу, курва, ружье, застрелю его...» Так мусора, падла, войска с Ай-Петри вызывали... Потом уже милиция кольцом его окружила, и так вели... Таксисты же по милиции стрелять не будут... А брат старший у него Мишка Пятак, сука, им с Андрю-шей по восемь лет дали... Они, курва, капитана одного КГБ расх...или, удостоверение у него, пушку забрали... У него-то вообще маршрут был Ростов — Ялта, потом на теплоходе в Сухуми, он по своим делам ехал... Но кегебешник есть кегебешник... Идет он, падла, по набережной и слышит, ребята двое набухарились и про валюту, про то... Ну, он, сука, подваливает: «Где бы тут выпить?» Они его в Южный. Ну, зах...или еще бутылку на троих — нештяк! Выходят, подводят они его, курва, к кусту тут, прямо у порта, и тут Андрюша, падла, ему х...нул... А он стоит сука, на ногах устоял... Хотел он Андрюше зах... — ить, а Миша Пятак, два метра роста, — ему в челюсть. Он с копыт и отключился... Потом на суде, курва, говорит: «Только хотел применить прием самбо к Андрею Переливченко, как Михаил Пятаков применил ко мне неизвестный прием каратэ, и я потерял сознание...» А какой там, падла, прием? Просто зах...ил ему кулаком нештяк! Игорек, Мишка Пятак — ребята, курва, были... У них отец после Котовского первый совершил побег из Симферопольской тюрьмы... Они с двоюродным братом тогда, сука, после войны приходят в Ялте в церковь. Хвать этого попа, курва, за шкуру — в туалет и раз его туда головой: «Где у вас тут золото?» Он молчит. Они его еще раз... Ну, он, падла, сказал им, где золото, а они его все равно там утопили, сука... Их берут, обоим расстрел нештяк! А там в Симферополе в тюрьме студебеккер стоял, мотор у него заведенный. Пятак конвойного головой, вскочил в кабину — х...к! — ворота сбил — конвой только полтинники выкатил... Двенадцать лет его не могли найти. Потом нашли в Ленинграде под фамилией Черный, директор треста ресторанов... Вот у нас в Ялте кабаки — Южный, сука, Ореанда, падла, Украина, курва, иди, куда хочешь... В Южном скрипач у нас был, мадьяр Додик. Его, сука, приезжали слушать с Одессы, с Москвы, с Киева... Он золото слишком любил... Ну а ребята решили его проверить. Есть у него золото?.. Прибегают к нему, курва, вечером в Южный, во время игры: «Дод Иваныч, дом горит!» Он все бросает, бежать... И на полдороге, х...к, инфаркт, помирает... И во время похорон его обчистили, падла. Жена, дети на кладбище, а тут среди гостей зашли два черта... Так в костюмах, все чин чинарем... А родня тут на кухне закуску готовит, сука... И готово дело нештяк!.. Ты чего на меня смотришь?.. Ты, друг, не бзди, я не заразный... Экзема, она, падла, не передается... А мазь эта, на ушах — итальянская кастеляни... Ты не бзди... Я тут три дня назад ночью, сука, в окно — и к двоюродной жене!.. Дочка у нее уже спит, бутылку поставила, я один стакан буль, буль, буль, буль, второй — буль, буль, буль, буль — нештяк! Назад надо, в палату, а тут м...а горячая — куда тут, остался на всю ночь. Ночью вспотел, утром просыпаемся, обе подушки красные от мази! Утром проскочил в палату, переоделся — нештяк!.. Х...е тут за больница — две экземы, три псориаза... Вот я в Москве лежал на Пироговке — там больница... Сифилитики прямо с нами в одной палате, курва, лежат. Они только первые два дня опасные, их в изоляторе, сука, держат... А как первые уколы им, падла, сделали — все, в палату зах...ивают. Я одного спрашиваю: «Ты как поймал?» «А вот ехал я в троллейбусе...» Другого — «Еду я в электричке...» Третий: «Ехал в трамвае...» Там, на Пироговке, сука, что хочешь... Рыбья болезнь, слышал? Все тело у него покрыто чешуей, как вроде, падла, у окуня... Вот у нас в Ялте если только вот такая машина с полосой, с красным крестом едет, ну все, точно: за трипперным поехали... Или за трипперной... Или за сифоном... Мне в Ялте чем нравилось. Там, сука, веранда, танцы... Ты подходи к любой бабе, танцуй, даже веди ее пороть... Пусть она мне будет жена, я тебе ничего не скажу. Уговорил — все! Иди, пори ее, курва... Там за бабу драться — самое последнее дело считается... И баб там не трогают, даже не обзывают... Будь она какая хочешь б..., ей никто не скажет... Я помню, одной б... — «Ах ты, говорю, б...!» Лучший друг меня в сторону отводит — у нас в Ялте, падла, на каждом углу

дерево или киоск — отводит меня, сука, в сторону, как зах...ит мне... Не в рожу, по корпусу... «Понял, — говорит, за что?» — «Нет». Он еще раз — х...к! «Понял?» — «Нет». Еще раз... «Ну, понял? Никогда, курва, так не говори. Вот залетишь, увидишь. Друзья к тебе не придут, а б...и придут...» И точно, когда, падла, я под следствием сидел, жена, сука, ни разу не пришла. А б... ходили... Водку мне, курва, передавали... Не знаю, чем с мусорами расплыва-лись... И на суде. Одна мне мигает: «Выйди в уборную». Я перед приговором у конвойного отпросился. Смотрю, там в бачке бутылка... Буль, буль, буль, буль — нештяк!.. И вот я сам баб, я в жизни, курва, не бил... Только один раз... Молодая, падла, была, с мужем развелась, гуляла. Симпотная баба, ну, я ее порол... Раз, два... Потом спрашиваю: «А ты чего, падла, с мужем не живешь?» — «А он, говорит, — у меня полтора года.....»

... Ну я, курва, как представил себе это... Как ей, падла, зах. л... А так идешь с ней в Ялте по базару, грузины языком цокают ца, ца, ца... Им там не дает никто, местные с ними не вяжутся, отдыхающие тоже... Он тебе за бабу сто пятьдесят заплатит и еще в кабаке сведет... Им главное, чтобы у бабы попа была большая. Уважаю их — коммерсанты. Умеют деньги делать... У них эта спекуляция прямо в крови... И в карты они играют. Их там всех Алик Осетин делал. Они его и пришили, восемьдесят тысяч новых он у них выиграл. И кто убил — неизвестно... Знали, сука, только что на игру пошел... И восемьдесят тысяч, курва, не тронули, так у него и нашли... Это не Ялта, а золотое дно. Или там поезда, падла, с вином гоняют. Он, сука, за один рейс двадцать-тридцать тысяч имеет. Я с ним, курва, один раз ездил. Во Владивосток... Х...е, у него такой шприц — на пять литров и игла длинная, как долото. Он цистерны не берет — на х... нужно — только бочки. Состав запломбированный, ключи все у него... И пустые бочки у него едут. И вот он начинает... Подходит, падла, к бочке, чуть собьет с нее обруч и туда зах...ивает этот шприц. Пять литров х...к — раз, пять литров х...к — два, пять литров х...к — три, и в ведро сливает. А в эту бочку он пятнадцать литров воды, даже не кипяченой... И мыло у него есть, и горчица. Он мыло с горчицей смешивает, залепит эту дырку, обруч на место, и она, падла, не течет... И так он по всем вагонам к каждой бочке... А на станциях он не торопится. Сутки состав стоит, это ему хоть бы х... Он меня оставляет, а сам на базар. Машины приходят, х...к — десять бочек, х...к двадцать... Оно там по рупь семьдесят, а он его им по рупь двадцать... Едем дальше... До Владивос-тока двадцать суток... А туда он приезжает, там шерсть эта японская — кишки, какие тебе хочешь. Он тройку чемоданов набивает этой шерсти, билет на самолет — и дома. И он таких два рейса в год, сука, больше ему не надо... Пусть он там плохой работник, курва, считается... Он говорит: «Я не хочу зарываться...» В Ялте там в филармонии контрабасистам этим, ударникам, сука, носильщик полагается... Мне Костя-ударник говорит: «Чечен, поедем со мной на два месяца в Среднюю Азию. Девяносто рублей зарплата, гостиница, падла, командировочные, курва..» Ну, узнал я, сука, какие города — нештяк!.. Два месяца с ним, курва... Х...е, я там и не таскал. Там приедут, падла, с аула на лошади, отвезут его бандуру... Двенадцать килограмм анаши, сука, плана привез оттуда. Там она сто-сто двадцать рублей килограмм, а у нас в Ялте — тышу... Х...е, рупь баш, а в нем грамм... На два косяка... Но я ее оптом, по семьсот рублей зах...ил... Пусть женят, что хотят... А вот морфушка, сука, морфий кристаллический — восемьдесят рублей, курва, грамм... Вот бы его падла, зах...ть... А план, х...е, я его сам курил. Под этим делом, сука, в техникум запросто сдал, только он, курва, мозги сушит, через месяц — х...к — меня выгнали... Так и в дурдом попадешь, падла... Нет, водочка лучше, стакан зах...л — буль, буль, буль, буль — нештяк!.. У нас тут один, курва, лежит, его жена в дурдом сдала Он, сука, месяц бухарил, она его, падла, и сдала... Ну, он рассказывает, там и психи... Полтора месяца там лежал и ни разу в домино не выиграл... Почти целый день с ними, курва, играл и ни разу не выиграл... А здесь х...е за больница? Сестры все суки, падлы, Мирка, Танька от мужей гуляют... Кормят, курва, дерьмом, повар, падла, домой сумками таскает... Х...е, я это дело знаю, у меня Томка-жена в Ялте, курва, шеф-повар была в санатории Крымская Здравница... Я и понятия не имел, как это в магазин ходить... Только что за хлебом, а так все дома есть... Я, сука, вчера звоню двоюродной жене, готовь четвертак, на той неделе зах...т меня отсюда..... Мне теперь, х...е, по больничному за полтора месяца рублей тридцать дадут... Пятьдесят процентов алименты,

иск, курва, ох. лый... Пять жен, сука, шесть детей. Я эту работу, падла, порол... Свадьбы я только две играл — с Тамаркой вот с Ялты и еще с Ленкой... х...о, первая у меня была жена — мне пятнадцать было, ей семнадцать. Парню уже пятнадцатый год. Она, курва, с меня даже алименты не тянет... От второй у меня — близнецы... Была, сука, лыжница Я ее подначил в Лужниках с трамплина прыгнуть, х...е, оба под бухарем были. У нее ноги разъехались, так кишки и вывалились... Потом ее родители приезжают к отцу моему: «У нас детей больше не будет, отдайте нам...» Мне девятнадцать лет было, я не хотел. Отец мне, падла, говорит: «Дурак, куда они тебе?» Ну, отдали мы их... Эх, Ялта, Ялта!, мне, сука, сто сорок вторую шили, валюту и мошенничество. И потом, курва, пять лет не прописывать в Ялте и в портовых городах Черного моря... Ну, х... на могилу, я их порол... Все равно пропишут — женюсь!.. Там это не проблема, кого пороть всегда найдется... Х...е, там девочки с четырнадцати лет все, сука.....

... Стой, сука, кто там идет? Танька, падла? Сегодня, курва, Танька дежурит? Ну, я побежал... Давай на х... деньги... Она мне сейчас стакан спирту, сука, нальет, я не я буду... Прощай, друг!.. Сейчас: буль, буль, буль, буль — нештяк!

сентябрь 1971

Вонючий и темный больничный коридор буквально забит койками.

На койках отравленные. (Еще до приезда московского профессора)

Среди стона, судорог, бреда движется молодой доктор-бодрячок в крахмальном халате. Остановился на секунду у постели старика. Пациент уже плох — потливость, боли в области солнечного сплетения, спутанность сознания...

— Ну, как дедушка?

Старик только застонал в ответ.

— Крови нет, говно не греет...

И пошел дальше.

Всегда ли я ощущал свою обособленность?

Пожалуй, один раз в жизни я не то чтобы, предался им, но как-то одушевился вместе с ними... Было это в самые первые месяцы прошедшей войны... Те из нас, у кого это чувство было сильнее или длилось дольше, тогда все полегли в бессмысленном и заведомо обреченном московском ополчении...

А я?..

Я как-то быстро опомнился, слишком ясно себе представил, кому достанутся плоды победы, и мое одушевление как рукой сняло...

Да к тому же тут выяснилось, что я им абсолютно необходим в тылу, и на меня, незаменимого, наложили какую-то броню...

Как это там у них в песне поется?

«Броня крепка, и танки наши быстры...»

Впрочем, в то время эти танки быстро катились не в сторону Рура, а в обратном направлении, к Уралу...

И все-таки я всегда говорил: «они»... Реже говорил, чаще просто так думал, что есть — «они» и есть «я»... И катастрофы не предвиделось.

Но вот настал достопамятный август шестьдесят восьмого, я развернул газетный лист, и... Я не знаю, почему на меня так не действовали в свое время ни Будапешт, ни Варшава, ни Берлин, ни даже Финляндия...

Но Прага, Прага...

И рухнули тогда «они», и появились на сцену «мы», и некуда было бежать от стыда и не с кем было даже им поделиться...

С того самого дня я никогда не читаю и даже не беру в руки «ихних», pardon, «наших» газет...

А какие-то подлецы и дураки до сих пор твердят, что это дело естественное, что это — политика, что политика — всегда грязь, что Вьетнам, что Тибет, что Доминиканская республика.

Ах, какое мне дело, что где-то кто-то ворует и торгует собою?!

А если моя мать — проститутка и воровка?

Тут есть некоторая разница, не так ли, господа?

А раньше я, грешным делом, любил время от времени листать ихние газеты. Я прямо-таки смаковал этих кровавых собак, прогрессивное человечество, общественность Удмуртии, это непокобслимое единство, единодушное одобрение, гневное осуждение и решительный протест...

И особенно ценил я — грандиозные предначертания.

Слово-то какое — пред-на-черт-а-ния... (Черт, небось, недаром забрался в самую середину.)

Есть и еще одна причина, которая всегда заставляла меня держаться от них особняком, может быть, почти инстинкт.

Покойный брат всегда обвинял меня в нетерпимости.

— Ты не терпишь инакомыслящих!

Сам-то он бесспорно был более терпимым и даже пошел с ними на компромисс, и поплатился за это (а м. б., не за это) жизнью.

Тогда я отмалчивался, слыша этот упрек, но теперь, по прошествии стольких лет, пожалуй, сумел бы ему ответить.

— Не в инакомыслии тут дело. Я охотно терплю инакомыслящих, но никогда не прощаю инакодсйствующих.

«МЕТИЛОВЫЙ СПИРТ — СНЗОН — первый член гомологического ряда предельных одноатомных спиртов... В чистом виде М. С. представляет собою бесцветную легкоподвижную жидкость с характерным запахом, почти не отличимым от запаха винного спирта, и жгучим неприятным вкусом... М. С. во всех соотношениях смешивается с водой и большинством органических растворителей... Смертельные отравления могут произойти при

введении внутрь 40 мл М. С; прием 5-10 мл может вызвать тяжелое отравление с потерей зрения или необратимыми, его расстройствами.

Принято различать три формы интоксикационного синдрома при отравлении М. С.

1. Начальная или первая фаза, когда отмечаются слабовыраженные церебральные общие проявления наркотического действия: состояние опьянения и кратковременного возбуждения, эйфория, легкое нарушение статики и т. п. Если эти явления интоксикации не нарастают, они не оставляют заметных последствий.

2. Офтальмическая форма, при которой на первый план выступают нарушения со стороны зрительного нерва и изменения глазного дна. При этой форме невралгическая семиотика скудна, очаговых изменений со стороны центральной нервной системы не отмечается.

3. Форма генерализованной массивной интоксикации при своеобразной вазопатии, явления вегетативного сосудистого синдрома в сочетании с церебральными явлениями: потливость, цианоз, тахикардия, боли в области солнечного сплетения, парез глазодвигательных мышц, спутанность сознания, изменения рефлекторной сферы, состояние аффекта, тонические судороги, смертельный исход...»

Сегодня, едучи в нашем тесном лифте, внимательно разглядывал белоглазого. Морда умная и недобрая... Хороший рост, очки в основательной оправе, надето все безупречное... Линзы в очках очень тонкие, сильная близорукость. (Должно быть, ужасно беспомощное выражение лица, когда на нем нет очков.) Это, конечно, не тот с рюкзаком, совсем иной коленкор...

Знаю я эту породу, хотя очень немного видел их. Когда я уже выходил в отставку и хлопотал себе пенсион, они еще только-только зарождались, еще были в диковинку, но я все-таки успел разглядеть и даже оценить их неглупых, циничных., не имеющих решительно никаких убеждений, ничего, кроме потребностей и запросов. И притом они до удивления быстро расплодились вдруг явились среди газетчиков и дипломатов, среди литераторов и ученых, даже среди сотрудников самой тайной полиции...

Эти белоглазые абсолютно серьезно считают себя наиболее совершенным продуктом исторического прогресса и развития цивилизации. Это ради них пал Рим и воздвигался Тадж-махал, ради них князь Олег шел войной на Царьград и Владимир низвергал Перуна, ради них бился на Куликовом поле Донской и росли кремлевские соборы, ради них бунтовал Стенька Разин и Петр побеждал под Полтавой, ради них Кутузов обманул Наполеона и декабристы вышли на Сенатскую площадь, ради них отменялось крепостное право и Ульянов убежал в Женеву, ради них пала «Аврора» и неслась буденновская конница, ради них раскулачивали мужиков и водрузили флаг над Рейхстагом, ради них хлещет из земли черная нефть, ради них зреет виноград в Араратской долине, ради них ходит по каспийскому дну вымирающая рыба с последней икрой в брюхе, ради них движутся в джунглях сафари, ради них сверкают стеклами небоскребы, ради них покрываются лаком скользкие тела лимузинов, ради них булькает в роскошной упаковке шотландский виски и английский джип, ради них кропотливые немцы и японцы собирают изящные радиомашинки, ради них шьются синие пиджаки с золотыми пуговицами, ради них сияют огнями океанские лайнеры, ради них в поднебесье покачивают бедрами самолетные стюардессы, ради них поют в Париже шансонье и взлетают ножки в Мулен-Руже...

И насколько же они не в пример страшнее своих предшественников — тупой сталинской гвардии, краснорожих подполковников и майоров...

ДО ОСНОВАНИЯ, А ЗАТЕМ...

У нас тут материк — воздух хороший. Это там, за рекой, болото. Давление болотное... Там тебе и комары, и что хочешь. А тут — бугор. Там, помню, поп за рекой совсем было зачах, заболел. А перевели его к нам, к Архидиакону, так разжирел, румяный стал. Летом тут благодать, умирать не хочется. Тут бугор — сады, что хочешь тебе растет... Не знаю, чем вас и угостить. У меня хозяйки нет. Все один живу, двенадцать уж годов. Пенсия больно мала — тридцать шесть рублей пятьдесят семь копеек. Чего там за пенсия у водников... Вот бы так-то написать мне биографию. Мне и военный комиссар, полковник Кривченко говорил: «Напиши ты биографию, я тебе хоть шестьдесят рубликов, а сделаю». Ведь я — балтийский моряк. Нас, балтийских моряков, ни хера в городе-то уж и не осталось. Один еще ходит придурковатый. Как сказал Владимир Ильич Ленин: «Балтийские моряки — оплот революции. Временное правительство полностью оторвалось от народа и неспособно руководить страной...» Я ведь самолично слышал его — Владимир Ильича Ленина, вождя мировой революции... Сейчас картошки начистим, наварим. Я огурцов достану... Когда у меня первая-то хозяйка была, была корова, овцы, поросенок... А теперь — куда они мне? Только кур десяток, петух одиннадцатый. И ни хера они сейчас не несутся. Весной-то неслись, куда там... Вот бы все бы написать, как оно было. В семнадцатом-то году. До основанья, а затем... Четвертого июля к нам в Кронштадт приехал председатель Павел Ефимович Дыбенко центрального комитета балтийского флота. На митинге на Якорной площади он пояснил: «Вождь нашей революции Владимир Ильич Ленин должен скрываться от ищеек временного правительства в убежищах-подвалах». Мы утром собрались с военных судов, и многочисленный отряд отправились в Петроград на буксирных пароходах. Высаживаемся у Николаевского моста. Прошли Невский, Литейный, Загородный, Забалканский, Обводной канал к Таврическому Дворцу, где занимала фракция большевиков. Донские казаки, которые охраняли временное правительство, преданные временному правительству, пытались занять Таврический Дворец. Налетели они на нас на Литейном проспекте. Улицы Петрограда обагрились кровью. Казаки размахивали направо-налево шашками, многих матросов ранили. Улицы Петрограда обагрились кровью. Нами командовал Стогов, батальонный командир. Мы стреляли по ним из винтовок. Они вторично на нас налетели. Керенский дал тогда приказ арестовать Владимира Ильича Ленина. Дзержинский был тогда арестован. Мы ходили тогда по всему Петрограду, и гнали мы их до Невской заставы. Балтийский флот — оплот революции... Вот так-то бы все написать, хоть бы рубликов шестьдесят мне сделали... Я б тогда вам... эх, ты... Вы пейте, пейте, мне нельзя... Вот только столечко... Больше ни-ни... Бери огурцы-то, бери!.. Не стесняйся. У меня ведь все свое... Живу один хозяйка моя в городе. Не едет сюда, да и я к ней не еду... Дом-то уж больно жалко. Дом-то старый. Еще учительницы был. Учительница Яропольская Мяррия Николаевна. Барыня была — куда там. Из Петербурга приезжала. Мне вот отдали да соседу Федьке Гвоздку. Тут вот кухня была да людская. Теперь уж ни хера нет, сломали все. Тут летом-то — умирать не хочется. Композитор к ней Танеев приезжал, Сергей Иванович. Недели две, помню, жил. На речку ходил, на пианине играл. С бородой. Вот она тут стояла, пианина. Откроеет окна и играет... Студенты, помню, два приезжали. Тоже на речку. Велосипед у них был, все катались... Да ты пей, пей!.. Мне-то нельзя никак... Ну, вот столечко... Ешьте, ешьте, все ведь свое... Спешить нам некуда — вся зима наша... Написать бы все полковнику... Как в семнадцатом-то году мы, балтийские моряки, оплот революции, советскую власть мы ведь установили... Я Владимир Ильича Ленина слышал, как он выступал четвертого июля. Тогда и переполох был. Кто за эсеров, кто за большевиков. Многие недопонимали. Дошли мы до улицы Шесинских. Со второго этажа, с балкона. Нас было тысячи три с половиной, моряков-то. Яков Михалыч Свердлов был тут на балконе и говорит: «Владимир Ильич, моряки подошли, скажите что-нибудь». Владимир Ильич вышел и стал говорить: «Оплот революции — моряки. Стойкость и выдержка. Временное правительство полностью оторвалось от народа и неспособно руководить страной». Много он тут высказывал. Был, конечно, он в пиджачке. В левой руке, конечно, кепочку держал свою. Лысая голова Рубашка с открытым воротничком. Желтоватая борода цапчочком. Вот пришлось мне в то время видеть Владимира Ильича

Ленина и слышать его слова. И как он высказывал: «От капиталистической революции перейдем к социалистической... Полностью оторвано временное правительство...» А тут Яков Михалыч. «Хватит, — говорит, — Владимир Ильич...» Так он в торопливом виде и ушел. Вон как его охраняли. Кабы чего не вышло. Мы ведь тут все с оружием. «Хватит, говорит, — Владимир Ильич...» А уж после этого уж мы три дня бились с ними. Только соберемся, опять налетят. Только соберемся, опять налетят. Идем по Марсовому полю, мимо казарм. Глядим, гвардейцы на окнах сидят. «Присоединяйтесь!» — кричим. А они только на окнах сидят. «Вы, — говорят, пришли, вы и делаете...» Только на окнах сидят да в гармонь играют... Петроград кипел. Одни только моряки и гуляли. К нам пришел Семен Рошаль и говорит: «Не верьте холуям временного правительства! Не верьте этим холуям-меньшевикам! Не давайте себя в обиду!..» А теперь вон пенсия у меня тридцать шесть рублей пятьдесят семь копеек!.. Хера ли это за пенсия? — ну ее к херам!.. Да ты пей, ешь, не стесняйся! Накладывай картошки — у меня ее до хера! Пей, наливай! Мне нельзя, не велят!.. Я сам налью!.. Я ведь родился в потомственной семье рабочего. До призыва работал в крестьянстве. Призвали меня во флот. Служил на учебном судне «Океан», город Кронштадт. Испытал революционное крещение в капиталистическую февральскую революцию. Отец у меня печник, был. Мастер был что надо. Пил только сильно. Я тоже печки после работал. В войну был водником — на броне, как незаменимый. У меня по реке — сколько? — семьдесят, что ли, бакенщиков, и у каждого печка Вот я все и ездил, печки им починял. Конечно, и для себя работал. В деревнях-то прибрежных. Как услышат, что приехал, так уж зовут. Бывало, и муки тебе дадут пуда два, и картошки... Только этим и жил. Из водников-то кто за зарплату служил? Где там дров возьмешь, где чего... Я первую-то хозяйку в Юже взял. Вдова она была, дочка у ней. Я на квартире там стоял. Так-то уж и получилось. Вечером сядем, самовар поставим да поллитровку выпьешь. Чего-то надо делать. Вот я ее и ушлепал... Да вы пейте, мне-то нельзя... И ешь давай. Какая это к херам закуска? Картошка да огурец в ж... не жилец... Накладывай. Капусты вот у меня нет. У хозяйки в городе. Пенсия уж больно мала Ты бы вот так написал бы полковнику Кривченко... Или он Кравченко?.. Все б так по правде. Я — балтийский моряк. Получил революционное крещение в капиталистическую февральскую революцию. Это в семнадцатом-то году. Подняли нас в час ночи. В Кронштадте аккурат первого марта. Вдруг тревога. Боевая. Иванов и Мясников главари, руководители политиканы-то. Боевая тревога. Мясников прибежал.: «Одевайтесь теплее, бушлаты, шинеля! Все в караульное помещение! За винтовками!» Мы похватили винтовки, патроны. Выскочили на верхнюю палубу. Но люки были закрыты офицеры сами закрыли. На верхней палубе Мясников на банкет стал и говорит «Что будем делать со своими офицерами, со своим начальством? В Петрограде революция, свобода!» Кто тут кричит — расстрелять! — кто — арестовать! кто — посадить! — кто — что! Тысяча двести человек нас было. В полном вооружении. Конечно, бросились в каюты. Оказались пусты. Они собрались в кают-компани. Офицеры там в полном вооружении были — кортики, винтовки, браунинги, сабли у них мотались... Стучим: «Отоприте!» Они кричат: «Что с нами делать будете?» Мы кричим: «Сдайте оружие!» Когда отперли, они тут сопротивлялись недолго. После сопротивления сдали они оружие. Кортики, браунинги и сабли отобрали у них. И на берегу в сарай которых заперли. Которые заядлые-то были. А других оставили на корабле. И в полном вооружении по стенке гавани шагали мы. Впереди портовая музыка. И прямо к адмиралу Верину. Значит, подошли к нему. У него часовые стоят — армейская полиция. Один в коридоре, один на улице. Когда арестовать его, как бросились в дом, он там спрятался у своих... Разыскали его матросы, вытащили на улицу. Накинули пальто, фуражку и вывели его на Якорную площадь. Ну что, расстреляли его — раз, раз — в овраг бросили. Старичишка был такой зверь!.. И еще контр-адмирала Бутакова тут же. Его с квартиры привели, он не прятался. После-то хватились, хороший он был. Но тут уж не щадили! Многих расстреляли... Покидали в овраг. Два столба врыли рабочие и лозунг «Смерть палачам!» Это первые-то дни революции. Многих перестреляли. Ну а после этого — митинги, митинги, митинги. Все на Якорной площади митинги. Конечно, власть временного правительства. Тут они законы ввели, расстрелы, казни. Временное правительство устраивало свое благополучие. Гучковы, Милюковы, Керенский — был глава. Керенский — правая рука царя был. Большевики,

меньшевики — кто за что?.. Мы тогда не понимали. Но большевики ведущие люди к хорошей жизни. Так мы понимали... Вот ты пьешь, по тебе и незаметно... Наливай, наливай... Я ведь без хозяйки живу, ничего у меня нет. Самоварчик вот поставим. Варенья-то, повидла у меня до хера. Свое. Сад у меня — двадцать соток. Яблони все сортовые. А на хлеб да на сахар пенсия... Да уж больно мала... Я уж думал, может, к херам ее! Не брать ее совсем. Тридцать-то шесть рублей! Обидно... А мясо мне хозяйка привозит из города. Первые-то годы, как та хозяйка умерла, я еще корову держал. Года два доил. А потом — ну ее к херам, продал. А на второй-то хозяйке я уже одиннадцать лет как женился. У ее брата в Ярополье печку клал. А где печка — там, известно, баба. Мне хозяйка-то говорит: «Вот бы тебе жениться. Хорошая женщина, — говорит, — дева». Она у меня целка была. А целку-то теперь где найдешь? Только что у мирского быка... Ну, давай! Вот только столечко... Да. У меня тут тоже один был из города. Даже ночевал. Говорит, старухе одной пенсию хлопотал. Не давали, так он — министру. И министр дал... И чего только мы, балтийские моряки, не пережили. И революцию, и гражданскую войну. Эх, гражданская война!.. Советская власть на ниточке моталась! Когда Бутакова-то контр-адмирала мы в Кронштадте поставили к оврагу — хороший был мужик! Но расстреляли. Горячка. Красивый был, высокий. Борода — во! Он только-то и оказал: «Если уж меня расстреливаете, то всех расстреливайте вплоть до унтер-офицера, а то, — говорит, — у вас будет гражданская война». И точно. Тогда Владимир Ильич Ленин такое указание дал: до мелочи вооружить. Готовил восстание. Восстание назрело, говорит. Это Троцкий был, сукин сын, фракционер. Зиновьев был, Каменев, Бухарин — это все сукины дети, они откололись... После как взяли Зимний, тут три дня безвластие было. На кораблях споры были: кто за временное правительство, кто за большевиков, кто за меньшевиков. Споры — только слушай. Вот Керенский тогда убежал на машине. Не сумели его схватить. А уж после большевики. Голосуй за список номер шесть! Антихристы нас называли, по-всячески клеймили. А что такое Антихрист? Это что такое? Большевики! Голод был, болезни завелись. К нам Федор Иваныч Шаляпин приезжал выступать в Кронштадт. В революцию-то сбросить больно легко, а вот война-то была Это было тяжелей. Балтийский флот — самая опора, когда советская власть на волоске моталась. Царские командиры армии и флота, скатившиеся в контрреволюционный лагерь... Гайда-проходимец, колчаковский был любимец, Деникин, Юденич, тут Колчак. В восемнадцатом, в девятнадцатом голод был, вредительство. Вредили на каждом шагу. Они с четырех сторон хотели задавить нашу молодую советскую власть. Наймит Антанты Юденич шел на Петроград, Деникин взял Орел. Самый свирепый генерал Юденич, наймит Антанты, задумал перевешать всех балтийских моряков. Думал перевешать всех. Он балтийских матросов ненавидел. Он дал приказ стереть с лица земли большевиков. Вот как они говорили, латыши, эстонцы, белогвардейцы. Достойный ответ они получили. Грозный ответ. От моряков балтийского флота... Кто кого? Мы отвечали: «Там, где было море, будет Петроград, а где Петроград, там будет море, а мы не сдадим». Он и посейчас стоит Санкт-Петербург, где родилась революция, а вождь революции — Владимир Ильич Ленин, которого мы охраняли... Наливай и мне! Ни хера не сделается! Помянем царя Давыда и всю кротость его! Сейчас самоварчик соорудим. Сделаем! Мальчишку ли, девчонку, а чего-нибудь смастырим... Мяса вот у меня нет На охоту не ходил. Тетеревов бы пару... Тетерева они в снегу, приспособляются. Домашний-то скот во дворе, а им чего делать?.. Вот они в снег и зарываются. Идешь, глядишь эти капушки. Прямо лыжами по ним идешь. Они только вылетают фыр, фыр! Ну, и подстрелишь пару. Придешь домой — щипать! А он, тетерев, зимой крепкий. Тетерев та же курица, только что в лесу. Самая лучшая дичь... Раньше господа все за тетеревами ходили... У нас тут и лоси. Шесть штук. Эх, его бы свалить... Да куда денешь?..

Вот ковровские-то бьют. Свалят — тут же увезут. Вот это — дело!.. А у нас чего сделаешь — все на виду. У меня за рекой есть лосятник знакомый. Хобаров. Вот лосятник Он их сотню свалил. У него обыск делали — четыре ноги нашли, да все разные. Ему и штраф дали, а он все ходит. «Это мне, говорит, — только комар укусил. Мне, — говорит, — это ничто...» Ты мясо-то его ел? Лося-то? Жесткое только, а так-то сладкое. И то — какой лось. У него ежели копыто острое, то его не раскусишь. А коли копыто тупое, как у коровы, — она та же говядина,

жирная... Вот бы его свалить. И всю зиму с мясом. Я вон у посятников был. Во какое блюдо наложит мясом — только ешь, не жалко. И без хлеба. Мне врачи-то пить запрещают. Только ни хера они не знают! Не знают, сукины дети, как мы революцию делали и гражданскую войну! Хорошо помню — в августе месяце, ясные дни. Сидели мы в домино играли. Ждем обеда. Вдруг откуда-то снаряд... Тревога... Ну, значит, нецензура, мат один. Красная горка. Двое с половиной суток били по Красной горке. Он наш порт-то был, но его белые взяли. На третьи сутки около часу дня штаб морских сил, вице-адмирал Кузнецов дает команду: «Развернуть орудия! Надеть чехлы! Красная горка взята!» Тут уж все тихо-спокойно. Четыре бочки вина на всю команду. Виноградное вино, а пьяное... Моряки раньше балтийского флота все пьяницы были. Пьяницы бы не были — Зимний бы не взяли. В прежнее время ведь как говорили: умница артиллерия, красавица кавалерия, пьяницы во флоте, дураки в пехоте... Как где чего было неустойчивое, моряков посылали. И на Колчака, и на Деникина, зверя-то этого. Шкуро, Зеленый... Самый главный — Деникин был. Я все время на корабле. Мы держали Петроград. Питер всколыхнулся, Петроград бурлит. Юденич тогда комсомольцев расстреливал. Все от восемнадцати до пятидесяти стали на защиту Петрограда. Наймит Антанты был разбит. Юденич бежал со своим войском во Францию, в сумасшедшую больницу. Наливай давай! Я все забываю, как тебя зовут?.. Закуси огурцом-то, закуси! Мяс нет — и не надо! Мясо ведь оно надоест, а картошка — никогда Вот турки-то, говорят, одним овощем питаются. Одни овощи едят. И до ста лет живут. Интересный народ. А хозяйка мне мяса привезет... Теперь-то уж поглажу ее, да пощупаю, и то хорошо. Как говорится, свою жену в чужом коридоре ушлепаешь, все равно как барыню... Она ведь дева у меня была. Так до росписи и не давала. Я все встречать да провожать ее ходил. Хотел ей..... Нет, говорит, до росписи нельзя. Так и расписались. Венчается раб Божий Евгений с рабой Божией Ксенией! Аминь! Она у меня в фабрике. Уж и пенсию получает — пятьдесят семь рублей. Да еще и работает, пока сила-то есть. Рублей восемьдесят гребет, когда и сто. У нее деньги есть. Да и у меня есть. Она меня все в город зовет, да мне дом жалко. Я уж и хотел его продать да купить в городе... Дети мне тут написали, некуда им будет летом приехать. Это от первой-то дети. Дочка — не моя, и сын Левка мой. Зять у меня полковник в Краснодаре. Так и не продал... Скоро самовар поспеет. А если Кривченко не поможет, насчет пенсии-то, ты министру напиши. Должны дать. Коли мне пенсию дадут, мы с тобой так выпьем... только держись! И на охоту пойдем. Приезжай — живи у меня хоть неделю, хоть две. И на рыбалку. Ты уху-то любишь?.. Ты еще ему напиши, как мы Петроград патрулировали. Город был на военном положении. Только до девяти часов. Чтобы ни одного человека не было. Вот шли мы Невским проспектом. Подходили к Адмиралтейству. К Летнему саду. Попадается барыня. Высокого роста в балерейном костюме, шляпа с соколиным пером, харя за сеткой черной. Ее начальник предупредил: «Город на осадном положении. Только до девяти часов». — «Братцы-моряки, — говорит, — я хотела бы с вами поговорить». Начальник патруля Пурышкин, козел тверской, мы так-то всех звали: мы, владимирские, богомазы, московские водохлебы... Пурышкин говорит: «Ну, поговори давай...» Она и начала — «Вы — моряки, такое войско, такое отборное войско и допустили такого подлеца Ленина...» Начинает тут всячески клеймить Ленина. Он продал Москву, Петроград, получил полтора миллиона золотом...» А начальник ей говорит: «А вы эти деньги видали?» — «Видала, говорит, — у меня такие-то деньги и дома есть. Ленин, — говорит, — Россию продал, хочет пустить немцев в Петроград, в Москву...» — «Ну, хорошо, Пурышкин говорит, — еще чего вы скажете?» А она только: «Вся Россия теперь Лениным продана». А начальник говорит: «Хорошо. А вы не дойдете с нами до комендатуры? До Адмиралтейства?» — «Не пойду, не пойду, не пойду! говорит. — У меня на квартире муж ждет». — «Нет, пойдете!» — «Нет, не пойду!» — не шла она. Начальник меня назначает: Шорин и Курин (костромской был). Назначает нас вести. Винтовки наизготовку держать! У нас винтовки заряжены были. Мы в бушлатах. Она: «Не пойду, не пойду, не пойду!..» Все-таки ее повели. Дал приказ стрелять, если побежит. Как к комендатуре-то стали подходить, она: «Отпустите меня, отпустите!» Золото стала предлагать. Я, как старший, говорю: «Нет, — говорю, — не отпустим! Революцию мы за золото не продаем!» Она, конечно, все золото сулила. Дескать, пойдем на квартиру, там золото... Много золота нам сулила. А пойдти мы к ней на квартиру, небось, пули

бы в затылок пустили. Вот тебе и золото. Мне Курин-то говорит: «Может, отпустим ее?» — «Ты что? — говорю. — А как нас с тобой расстреляют?» А она все: «Золото да золото...» — «Нам, — говорим, золото неинтересно. Нам надо туда вас представить, куда приказано». Привели ее к коменданту в Адмиралтейство. Здоровый такой парнина, в плечах широкий. Ходит по кабинету, и два револьвера у него лежат на столе... А мне чего?.. Было поручено сдать коменданту. А у Николаевского моста там встретимся. Пурышкин такое указание дал. А комендант здоровый такой и все ходит по комнате... «Что, сука, попалась, гадина?!» Ее сразу тут в обморок бросило. «Я ничего, ничего», — сразу начинает. Я тут рапортуя: «Такая-то, говорила: Ленин продал Россию, Петроград, Москву...» И он приказывает: «Отвести в морскую следственную!» Тут она в обморок-то забилась: «У! У! У!» — заухала. А он: «В морскую следственную!» — говорит грубым голосом. Она: «У! У! У!» А он: «Молчи, гадина, пристрелю!» Пришли тут два матроса конвойных, а она ревет, плачет: «Отпустите меня, меня дома ждут...» И золото все сулила... Васья Куринов хотел взять, а я не дал. Испугался. Свои, думаю, пристрелят... Ты это-то не пиши. И повели ее в морскую следственную. Их тогда собрали на Лисий Нос и распыжили! Их тыщи две тогда запичужили — полковников, подполковников, старорежимников!.. Всех их на Лисий Нос, на баржу и в море! Они комиссарами нас не называли. Все комисралы. И после еще тысяч восемь! И правильно! Владимир Ильича Ленина, вождя мировой революции, клеймить! Сука!. Мы тогда советскую власть одержали, защитили... Нас Юденич в котлету хотел изрубить, и ничего... Ты наливай себе чай. Один крепкий лей! И варенье бери! У меня его до хера! Я ведь у него был, у Кривченки... Руку мне жал. Хороший мужик, полковник. «Рассказывай», — говорит. Я ему рассказывал. Тут лейтенанты к нему в кабинет пришли два. Молчат. Полковник! Я тут ему и говорю: «Можно, говорю, — я с ними поздороваюсь?» Он говорит: «Давай!» — «Ну-ка, — говорю, — мне постройтесь!» Они молчат. Я говорю: «Какие же вы херовские лейтенанты?.. У меня, бывало, взвод стоит по струнке! Мысли мои знают! Я только еще подумаю, а они уже знают!..» Эх, морская душа простая. У нас на море — не как у вас на берегу! Херовские лейтенанты!.. Эх, и служба у нас была веселая. Матросы все молодые. Старшина был катера, Коля-Ваня звали то ли он Иван Николаич, то ли Николай Иванович! Вот был мужик веселый. Только скажет: «Эх, залилась м... кровью, рубцов не видать!» А у самого.....

И в карты любил играть. «Это что, — говорит, — за игра, из-за хера сзади не видать!» Обыграешь его в козла, только скажет: «Зря, — говорит, — тебя мать углом не родила, свинья б об тебя м... почесала...» На занятиях по словесности, бывало, скажет: «Это, — говорит, — все я не знаю. Я, — говорит — только знаю, из каких главных частей м..... А боцман у нас был, их и зверь! Раз и меня цепкой огрел. Я так-то вот стоял да тянулся возле койки. А он как опояшет! «Не дома!» — говорит. А кого и по три, и по четыре раза. Да все цепкой. Ох и били его в революцию. Посадили так-то вот на стул. «Простите, — говорит, — товарищи... Это, — говорит, — такая служба... Товарищи...» — «А ты меня за что цепью?!» Раз его!.. Он со стула валится. «Ах, ты валишься?!» И еще ему!.. Многие тут били. Я ему тоже дал раз, чтобы мое не пропадало... Офицеры-то у нас звери были. Куда там!.. Только на берегу. В походе — не то! Тут они шелковые становились. То одного столкнут в море, то другого... Да ты бери, бери варенье-то! В чай его ложи! Не бойся! Я крепкий-то чай люблю! Я и вина попил, и баб трепал. Дело прошлое. Еныса Шорин давал — только держись! Знай морских, почитай флотских!.. Вон из того дома, по тому порядку старуху-то в больницу увезли... Дева! Я было просил у нее. Не жениться — так! Нет, не дала. «Скоро, — говорит, — Пасха». Набожные больно были... В церковь придет, в блюдо копейку бросит, а тянет гривенник! Вот они какие, набожные-то! Так дева и осталась. Ну и хер с ней! Это все прошло дело... Тебе, может, сахару еще дать?.. Ты ешь, ешь! Может, варенья тебе другого?.. Как хочешь... Эх, если мне пенсию дадут... А не дадут, мы прям к министру... Хера ли мое теперь житье?.. Девятнадцать лет живу один... Мне уж семьдесят четыре... А чего поделаешь? Мне соседи-то говорят — «Ты сервант купи да вон стены оклей». А на хера?.. «Ты, говорят, — деньги бережешь...» А я и берегу. А как их не беречь?. Деньги-то у меня есть. А как же без них?.. Ведь вот помру — дух вон и яйца кверху! Этого не миновать. Плюнут в рожу мертвому, и ни хера не сделаешь. Сейчас-то мне в рожу плюнь, я те сдачи

дам... А тогда уж ни хера не сделаешь. Лежи! Вот деньги-то и нужны. Два ящика вина купить мужикам. Щей сварить мясных, каши. Всех чтоб накормить — стариков, ребятишек... Что еще нужно? Стар я стал. Старый матрос, уж все прожил, а толку нет... Вот так-то бы написать!..

декабрь 1970

А что, коли не принимать во внимание моих нескольких давних и мимолетных с ним встреч, нашего прошлого соседства и вообразить себе его таким, каков он предстает в своей папке?..

Вот он загорает на берегу речки, он гуляет по городку, беседуя со сварливым старожилом, он спешит в местный музей на свидание с любителем старины, он встречается узника под конвоем, ах, да — он еще пишет какой-то сценарий, девять страниц, в воскресенье утром у него с похмелья трещит голова, и он пьет в столовой пиво с уголовниками, в понедельник утром он тоже пьет пиво, на этот раз с работягами, он покупает у старого офени две иконы и колокольчик, он шляется по базару, он разглядывает здание бывшей острожной церкви, он пьет воду из ведра у барынина колодца, он ходит по домам и выслушивает рассказы городских и деревенских старух, он обедает в ресторане, он подслушивает разговоры на паперти и в предбаннике, он пьет водку со старым балтийским моряком, он читает мемориальную доску на здании городской больницы, он идет через рожь в обществе старой монахини...

Вот вам — труды и дни.

Ну, где же он, где? Куда запропастился?

Спросить, что ли, у нижней дуры?

У тети Паши спросить?

Нет, все равно не буду спрашивать! Назло не стану!

Только кому — назло? Себе или ему?

Или этой нижней стерве с намазанной рожей?..

ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЙ НЕКРОПОЛЬ

1. Охранник на заводе, кого приставили стеречь цистерну, конечно, хлебнул одним из самых первых — +
2. Вася Дыль-дыль, герой, фронтовик, фашистская пуля не взяла — +
3. Сильно умный мужик, шофер с Севера, только что каменный дом поставил — +
4. Казанский татарин в тубетейке и в сталинском френче, — ах, Ислам, ах, Пророк, где твои заповеди — +
5. Пастух, муж Альки из Коврова и с ним пропащая бабенка с кладбища, не везет, ну, никак не везет — +

6. Холкозный-то председатель, Петров Василь Иванович, прикатил на беду в город, в райком — +
7. Муж Клавдии, жену из горшка уриной напоил, дети напрудили — не нашел прокурор по надзору подходящую статью, не применил меру пресечения +
8. Двое милицейских, два квартальных надзирателя, сами же конфисковали целый жбан, не вынесла душа поэта, оба пригубили — ++
9. Со сломанной ногой, жена в девятый раз с ума сошла, конечно, поспел, прихромал вовремя — +
10. Рыбаки всей компанией, дядя Сережа, несостоявшийся самурай и с ним еще пять душ слушателей — +++++
11. Из предбанника интимный друг министра — курсант с Алма-Аты и внук покойного дедушки оба — ++
12. Курячий доктор — семь лет держался, по праздникам лимонад пил, к казенному спирту не притрагивался, а тут нечистый попутал, развязал, и на тебе — не пережил даже своего пациента петуха, вогнал себя в гроб без риперина — +
13. Витек сгорел — +, а Юрка выжил, брат принес бутылку противоядия.
14. Балтийский моряк, оплот революции, Енька Шорин не слушался докторов, хлебнул на дармовщину, дух вон и яйца кверху — +
15. Бульдозерист Федя, единственное ты мое светлое пятнышко... ладно, уж пусть живет, посадить его, что ли, на пятнадцать суток, пока в городе гуляет отравка...
16. Миллион двести тысяч, ехал бы ты лучше в Калугу или в Тамбов, адье, адье, май нэтив шо — +
17. А вот у нас в Ялте, буль, буль, буль, буль, нештук — +
18. И еще с ними двести семь душ — ++++++ — имена же им Ты, Господи, веси...

Но некрополь этот при всем своем сомнительном остроумии — увы! — не полный. Здесь присутствует и еще одна смерть, и притом не выдуманная, а реальная...

И имя его Ты же, Господи, веси...

«Холера азиатская или индийская представляет собою острую заразную контагиозную болезнь...

Но лишь в 1889 г. Роберту Коху удалось отыскать возбудителя холеры. Посланный германским правительством во главе холерной комиссии сперва в Египет, а затем в Индию, он с несомненностью доказал, что азиатская холера вызывается проникновением в кишечник человека особой бактерии, которая по форме сходна с запятой...

К заболеванию Х. восприимчивы все расы и возрасты; смертность наиболее велика у детей и стариков, а также у истощенных субъектов. Значительные скопления людей, многочисленные толпы пилигримов и военные действия благоприятствуют появлению и распространению Х...

После скрытого (инкубационного) периода, который длится от 12 часов до 1-2-3 дней, болезнь начинается обыкновенно сразу без предвестников и в большинстве случаев в первые часы

ночи. Больной, легший спать совершенно здоровым, просыпается от урчания в животе и сильного позыва на низ...

К описанным выше явлениям X. поноса присоединяется еще и рвота, сперва желудочным содержимым, потом желчью и, наконец, бесцветными массами. Общие явления довольно тяжелые: голос становится слабым, конечности холодными, пульс мал и учащен... Вследствие громадных потерь жидкости кровь уменьшается в количестве и сгущается, кровообращение ослабляется...

Лицо получает своеобразное выражение: ввалившиеся бледные губы и щеки свинцово-серые, запавшие глаза окаймлены синевато-серыми кругами, подбородок, нос и скуловые кости сильно выдаются. Голос беззвучный, монотонный, выдыхаемый воздух поражает своим холодом...

Особенно тягостны болезненные судороги, которые проявляются приступами чаще всего в икрах, реже в мышцах верхних конечностей и нижней челюсти.

Сознание обыкновенно сохраняется до самой смерти, но больные скоро впадают в апатию...

Из посмертных явлений упомянем повышение температуры, которое замечается непосредственно после смерти на трупе и может достигать до 42° и выше. Последующее охлаждение тела может происходить весьма медленно. Далее в течение первых часов после смерти могут появляться подергивания мышц на конечностях, груди и нижней челюсти, как самопроизвольно, так и при механическом раздражении...»

Мы ведь тоже умеем делать выписки...

Почти отовсюду в городе видна звонница самой старой разоренной Троицкой церкви — шатровая, изящная, как стрелка, указующая на небо. Известка с нее смылась, и крест заржавел, но зеленеет на этой колокольне маленькая березка — там, где кончается башня и начинается конусообразный шатер...

Это она сама себя украсила к своим именинам, к Троицыну дню, раз люди о ней позабыли...

СТАРИНА

— Это старые-то вещи? Иконы?.. Знаю я, все знаю... Только уж ее, старины-то, сейчас тут не найдешь. Ни у кого не найдешь... А ведь было, все было... Чего только не было... Я ведь сам офеня природный, владимирский... Четырнадцать годов с отцом первый раз ушел в дорогу. В устреку по-нашему-то, по-офенски... Я еще в школе мальчишкой учился. Сдавали мы экзамен в девяносто шестом году, аккуратно, когда царь-то на престол всходил... Учительша и говорит до экзамена. «Тебе, — говорит, — Лепешкин, придется еще годок поучиться... Спроси, — говорит, — отца..» Писал я плохо... Так грамматику, это я больно хорошо учился, стихотворение — раз, два прочитаю, и уж все готово, а писал больно плохо... Ну, отец-то и говорит: «Мало как пишет, в писаря, что ли? Читал бы, да и все...» Ну а потом стали экзамен сдавать, нас человек сто пять было, из пяти школ... Вот сто четыре сделали ошибку, а я один написал правильно... Инспектор диктовал, так-то шамкал: «На полке ле-ф-али ча-ф-ки, ло-ф-ки и сковорды...» Все и написали «сковорды...» Один я — «сковороды»... Помню, сдавали тут во Мстере, где школа... Учительница вышла и говорит: «Удивительное дело, говорит, — я на Лепешкина и не надеялась, а он один пятерку получил, а все только четверки...» У нас тут какое хлебопашество, хлеба едва до Рождества хватало... Вот вся округа одни офени и были... И пошли мы с отцом в дорогу первый раз в девяносто седьмом

году, пятнадцатого сентября, на лошади... Шли через Шую, Иваново, Ярославль... Какие товары и водой отправили через Нижний на Череповец, а какие с собой...

Иконы были, да книги, картины Сытинские... В Череповце получили мы иконы, а ехать надо было торговать в Олонецкую губернию, потому что старина-то она вся там — в Олонецкой, в Архангельской, в Новгородской, конечно... Ехали через Кириллов, в Белозерск, оттуда в Вытегру... Она на берегу Онежского озера... А там ездили по деревням... Книги да картины по ярмаркам, а иконы — по деревням... Там много ярмарок, чуть не круглый год. Иконы у нас были фольговые, мстерской работы... Конечно, и деревянные были, но их только по староверам продавали, староверы фольговые-то не берут. Деревянные под старый вид писанные, это только для староверов... Зарабатывали-то немного, конечно... Больше меняли. Там можно было древние-то иконы найти да выменять, а уж тут их нигде не найдешь... Потом древние-то домой привозили, а здесь их мстерские покупали. Один хороший был покупатель, Александр Игнатьевич Цепков. Этот покупал ценную старину. Даже в то-то время двести, триста рублей — это не каждый имел, а Цепков покупал. За семьсот и то покупал. Но это редко когда... Их все больше на колокольнях старых находили, по церквам... С покойником икону принесут, она там и лежит... Бывало, уж ничего на ней нет — одна старая доска, чка по-нашему, по-офенскому... Мы за них по пятаку платили, во Мстере-то ее уделают под самую старину... Бывало, по пятьсот даже таких досок набирали... Конечно, которые покрупнее да поценнее, те с собой, а так, которые напакуюшь одна на одну и поездом по Архангельской дороге... А во Мстере-то, бывало, по шестьдесят, по семьдесят рублей платили за семивершковую-то, за старую... Я раз шестивершковую купил, Никола оглавный. Я ее взял, на икону на фольговую выменял... За тридцать пять копеек... Принес отцу. Отец говорит: «Хороша икона, да уж выгорела. Лица-то уж не найдешь». Привезли мы ее домой, с уголка нашатырем помазали, а она вся целая... Мстерские за пятьдесят рублей взяли... А еще раз привезли одну, на три части распалась — три доски... Владимирская... Так за сотню пошла... Из Богоматерей боле всех ценится Владимирская и Смоленская, ну, еще Тихвинская... Николай чудотворец, Спаситель, это все ценилось, а предстоящие — меньше... И каждому свое название. Вот Никола — по-офенскому — Хорхора, Богородица — Стодница, Спаситель — Стеситель... А иконы по-нашему — стоды... Одну, помнится продали мы прям из дома, была она на божнице, аккурат вот такой же вот Никола, как этот... Ростом был аршин с чем-нибудь... Купили мы его с отцом в барском доме. Просто сам-то барин не живет в своей усадьбе, а купили у дворни. Она стояла не на кухне даже, а вот где дворня-то живут. Но старая она была, уж по краям начала пропадать, крошиться... Тоже Николай угодник, годов двадцать она у нас стояла, а тут мстерский маклер... Старичок, Осип Шитов... Вот он нам тогда покупателя и привел, из Петербурга, Егоров ему фамилия... Пришел и говорит: «Снимите мне ее сюда из божницы». Сняли вот сюда на стол, он надел очки, потом вынул кран-циркуль... Сначала измерил так и так, потом руки, расположение... «Вот это — говорит, — самого новгородского письма... Ну, — говорит, — сколько хочешь?» — «Двести пятьдесят», — отец говорит. «Нет, — говорит, — мне ведь ее еще в Петербург везти». Ну, отец и отдал за двести тридцать, скинул двадцатку-то... У него скатерть с собой была, так он ее в скатерть завернул, да и повез во Мстеру... Вот так-то мы с отцом и ездили. Шесть или семь лет. Пока отец в дорогу ходил. А потом он во Мстере посудную лавку открыл, да и ходить перестал... А я уж тут серебрить ходил — куреньшить по-нашему-то... Серебро, значит, куреньшо, а золото — кулото... Серебрил я это с девятьсот третьего года и по... по... по пятнадцатый... А серебрили-то когда монетами, а лучше всего ломом. Лом-то я покупаю в городах десять-двенадцать копеек золотник, а в рубле-то их всего четыре золотника, двадцать одна доля... Серебро больше покупали по городам, в ломбардах с аукциона, да у часовых мастеров... Лучше нет, как работать в Вятской губернии. Там приходы большие — по пять, по четыре, по шесть священников... Утвари, во-первых, много. А вообще-то они не нуждаются в деньгах. Посеребришь им, а староста... они все эти серебряные вещи поставят посреди церкви в воскресный или в праздничный день и делают им священье. Священник кропит, а на священье народ все несут деньги, либо шерсть, либо лен или курицу принесут... Глядишь, наберет он полсотни на священье, а то и больше. Этим и выходят. Другой раз

вперед рискуешь. «Серебрите, — скажут, — а мы на священье соберем...» Которые холста несут, которые — чего. Все больше льну да вот шерсти. Годов десять я ходил все по Вятской. Три раза лошадь покупал, долго проработаешь, весна захватит, приходится продавать... Па санях-то пока едешь. Одну пригнал, помню, домой. А до той уж больно хороша была кобылка, тоже хотелось пригнать... Лошадей там больно много, в Вятской губернии. Местной породы, вятская... Невелики лошади, но широкие лошадки... Какой бы цвет ни был, а все по спине у нее ремешок. Если она бурая, а верхушечка-то все чернее... Да. Чего только не было, за столько-то годов... Ведь офени-то какие только не были. И пьяницы были... Был тут раньше в отцовы-то годы Филипп Иваныч. Сын у него теперь... вот имя-то сыну забыл. Он больно пьянствовал. В Боровичах Новгородской-то губернии с месяц торгует, а потом и забусает, запьет. Сына своего вечером посылает: «Вандай гомыры». Принеси, дескать, водку... Его и хозяйка-то со двора хочет согнать. Неделю, дескать, целую пьянствуешь, бусаешь... В Боровичах-то, помню, на постоялом дворе офеней много, вот и распорились. Какое, дескать, название козе. Одни говорят — моза. Нету, говорят те, ей другое есть название — трикотуша... Овца-то — моргуша, а вот коза-то — трикотуша... Так-то по-офенскому мы не больно говорили, только вот когда какое слово сказать, чтобы не понял никто... Если сказать, что надо лошадь сходить напоить — остряка набусать. Фера берить — сена дать. Торговаться приходили когда. Если торгуется мужик, дает мало — просишь двадцать копеек, а он дает пятнадцать... Ну, и спросишь товарища-то: «Сабосу стычит?» Дескать, сколько себе-то стоит. А мужик и не понимает... Или в церкви работаешь, а поп идет... «Тише, — говоришь, — кас хлит». Значит, поп идет... Да мало ли чего делали офени-то владимирские... Всего и не упомнишь. А то баб этих кубасей ферили... Так-то и со мной тоже грешным делом грех один был... Молодой был еще... Еще с иконами ходили. Молодой был, здоровый... Стал на дворе у хозяина. В Казанской губернии. Он мужик не так старый, а понюхай. Хозяйство у него — лошадь, две коровы да бык. Небольшой такой бычок. Я у них три дня стоял. А хозяйка у него — высокая, чистая, груди вот так стоят в разные стороны. Красивая баба. А этот только все по хозяйству, только все по хозяйству — валенки наденет и на двор. Я ей как-то так и говорю: «Как же, — говорю, — ты с таким-то понюхаем живешь?» — «Да, — говорит, — прямо беда...» Сирота она была, их три сестры было. Вот мать-то и отдала. И я-то вижу, я на печи спал. Он на кровати ляжет около нее, да как кутенок свернется. Да спит. А они лежит румяная, груди вверх... Тут бы ее... Я-то с печи все вижу. Я уж и сговорился с ней, да ведь он все дома, все по хозяйству. Нельзя никак. Уж второй день стою, вижу, дело пропадает. «Эх, ты, — думаю, — офеня владимирский!» А боязно. Ведь нехорошо будет, как застанет. «Ты, дескать, с иконами ходишь, да баб...» Еще иконы мне об голову расколотит... Жалко. Ведь у хозяина они по семь копеек, а тут когда два, когда и три рубля... «Эх, — думаю, — ничего не выйдет...» На третий день легли спать, хозяин мне говорит: «Иди на печь». Я и лег. И они легли. Потом иду вроде бы на двор. А бычок у них не такой большой был и прям во дворе. А зима. Я вышел, так-то аккуратно воротину отворил. Он лежит. Я его как наподдам ногой: «Чего ты тут!» Он и бежит, на улицу-то выскочил. Я за ним. И еще ему как следует! А в снегу-то не замазался. Прихожу со двора, говорю: «Хозяин, а хозяин...» — «А?!» — только. «Во дворе-то у тебя непорядок. Воротина одна открыта...» Он тут и подхватился скорей: «Ах, ты, — говорит, — это — бык...» И скорее — на двор... Ну, а я-то тут к ней... Она только ахает... «Скорей, — говорит... Иди, — говорит, — на печь... Кабы не застал...» Ну, я дело сделал, да и на печь... Пока он быка-то гоняет. А баба такая чистая, покраснелась... Я на печи свернулся, да и лежу. Хозяин пришел. «Ну, — говорит, — подлец бык! Я, — говорит, — уж его бил и бил трепалом». А я лежу да думаю: бык-то невиноватый, тут бы нас бить... А она мне только пальцем погрозила: молчи, дескать... А я уж и сам. Утром она мне и говорит: «Я бы, — говорит, — все бы бросила, да с тобой уехала». Куда это, думаю, я с иконами да еще с ней приеду... А так-то бы с ней жить можно. Баба высокая, полная и чистая. И умная баба, хозяйственная... Да... Попутал нечистый. Все было... И старина была, и золотишко было... Раз, помню, в Вятской губернии, с Чистого понедельника работали до пятнадцатого апреля, Пасха была в Благовещенье в двенадцатом-то году. Сперва тропари Благовещенью служили, а потом — Христос Воскресе... Село Богородское, Нолинского уезда... Церковь была трехштатная, три священника Четвертый нештатный из

дьяконов... Пришло нам время рассчитываться. Мы два месяца в аккурат работали. Настоятель, отец Всеволод, спрашивает: «Мастер, какими деньгами вас рассчитать?» — «Давай, — говорю, — золотом. Оно нам сподручнее. Мы его, бывает, травим да в дело пускаем». — «Ну, — говорит, золотом, так золотом...» И отсчитали нам двести сорок рублей одним золотом. И все десятками... Да... И вот прожил все. Почитай, за год две лошади у меня в двадцать третьем-то году пали. Первую-то я купил, отдал шесть золотых десятков, да корову. И полтора года она у меня не была — пала. А уж вторую покупал за тринадцать тысяч. Какие цены тогда-то были... Легко ли тринадцать-то тысяч набрать? Все тогда продал, всю старину. Часы были золотые с музыкой — продал. Да серебра лому с полпуда было. У бабушки, матери-то, последняя десятка была — она отдала мне. Сдал ее в городе за тысячу рублей без двух рублей — за девятьсот девяносто восемь. Лому-то сдал тогда еще на фунты, тоже сот на пять. Были вещи — рюмочки, стаканчики. Много вещей было из ломбарда еще, из Вятки... И корову. Пришлось уж не свою, а у сестры. Она уж была отделена, сестра-то, вот у нее корову взял да за шесть тысяч продал. И вот едва сколотил я тринадцать-то тысяч, и купил молоденькую неезжалую, трех годов. Спасибо, Бог дал, хорошая попала лошадка, кобылка... Куда съездить, так живо-два... Так и ту в тридцать первом году в колхоз свели... Так вот ничего и не осталось. Только вот что дом. Большой дом... Да, лесу-то тогда дали... Ведь лес-то он барский был. Сеньковский, Демидовский... Новой-то власти надо было сперва крестьян потешить, вот и дали... Да, теперь уж старины нет... Только что колокольчик где-то был. Погоди, сейчас принесу... Да вот икона эта Никола. Этот старый А вот это — Покров. Она только под старину писана. Вот, гляди, колокольчик этот мы еще с отцом из Олонецкой губернии привезли. Там красной меди в старину все чего-нибудь да лили... В Олонецкой губернии медной посуды много. Много было еще в то-то время, при нас... И Никола этот тоже из Олонецкой. Вытегорского уезду. Также с отцом привезли. Это — старина. Выменяли, помню, на новую икону, на фольговую... Мы у них не один год там ночевали. Главное, ее чинить-то не надо, она вся целая. И деревни помню название, Рокса название. Там староверов-то было много, в Олонецкой губернии... А уж вот Покров, она не старая, только со старого списана. Он писал ее, что ли, в двадцать седьмом. Там во Мстере-то больно голод был. Хлеба-то давали грамм триста, четыреста... Василий Михайлович имя ему, Наугольнов. Пришел он милость просить. А отец с ним был знаком до этого-то. Вот он пришел под это вот окошко милость просить, стучит. Отец говорит: «Вась, это ты?» — «Я...» — «Я, — говорит, — тебе дам две доски, ты мне Покров напиши, да Егорья, а я тебе мешок картошки дам». Он ради питания написал. Покров у нас тут престол был. А Егория писал в божницу. У нас раньше старинный был Егорий. Вот тогда-то еще приехали из Москвы, побывать сюда. Они все отседа брали. Это дети-то Ивана Митрича Силина. Уж они отца-то знали. «Епифаша, нам продай, — Егория увидели, — продай нам...» Он говорит: «Из божницы-то вроде грешно продавать. А сколько дадите?» — «Да четвертной...» Вот Наугольнов-то и написал нам под старину. Егорий, он разный бывает. Один на леву руку едет, а другой — под праву... Который куда... Один сюда — из божницы долой, а который — сюда... Не помню уж, который под старину-то. Что?.. Продать?.. Продать-то продам. За так не дам. А продать — чего уж тут... Давай за три-то рубля уж и Николу, и колокольчик, и Покров. К чему оно мне теперь все... Бери, не стесняйся... Вот они по радио все говорят, дескать, Ленин умер, а дело его живет. Да... А я вот и жив, а дело-то мое умерло. Лепешкин жив, а дело его — умерло...

март 1971

Нынче была у этих, внизу, внеочередная «наша среда»...

Я возвращался из лавки со своим кефиром уже часу в десятом, а они еще только подкатили — и мадам, и белоглазый... Потом мы все трое ехали в лифте....

Они при этом благоухали вином и шашлыком и, как видно, очень торопились... (Срочное изготовление дамских поясов и пуговиц!)

А час спустя, перед тем как белоглазому выкатываться, у них там внизу случилась сцена — рыдания, упреки, утешения, всхлипывания... (Сам виноват, дурак, не давал бы ей так много вина.)

— Тебе этого не понять... Ты — мужчина... Я измучилась... Я не могу делить тебя ни с кем... Ты мне нужен весь...

Словом, пластинка еще более заигранная, чем Вертинский...

Да... Как говорили в мое время — среда заела...

Мучит ли меня хоть по временам раскаянье?

Считаю ли я свою жизнь неудачной, несостоявшейся?

Я много не думал об этом, но одно знаю твердо: я почти никому и ничему не завидовал — ни богатству, ни славе, ни власти, ни даже успеху у дам...

Зависть вообще редко посещает меня, да и направлена как-то не в ту сторону. Пожалуй, позавидовать я могу гегемонстру, который пьет водку, сидя прямо на заплыванной земле подле желтой будки... Или ему же, когда он похмеляется морозным зимним утром, судорожно глотает свое пиво все из той же будки, из той же кружки с надбитым краем...

А острее всего в моей жизни я позавидовал, пожалуй, одной пьяной бабе на мосту...

Душное московское лето было уже на исходе...

Я ехал в автобусе куда-то в Замоскворечье, только уж не припомню, куда... Мы катили по Большому Каменному мосту, и вдруг я ощутил, что автобус замедлил ход, а потом резко затормозил, будто перед ним оказалась преграда. И все машины, которые бежали впереди нас, сзади, рядом, — тоже. Все стали спотыкаться и тыкаться, как слепые.

Я посмотрел в окно и увидел причину замешательства.

С левой стороны моста, у самых чугунных перил, простая баба лет пятидесяти, достаточно грузная и, как видно, совершенно пьяная, напевая что-то и пританцовывая, срывала с себя одежды... Слегка покрутив в воздухе каждым предметом (когда я взглянул на нее, это было ситцевое платье), она швыряла его в кучу, на свою, тут же на асфальте стоящую, хозяйственную сумку...

Прохожих никого почти не было, и она, взнесенная мостом над рекою и столицей, возле самого Кремля, на уровне шатра Свибловой башни, кажется, вовсе не слышала исступленных автомобильных гудков, а танцевала и пела, подчиняясь лишь ей одной внятной музыке...

А с обоих концов к ней неслись уже, рвали когти псы — милицейские и в партикулярном платье, но мост этот тянется едва ли не версту, и, пока они задыхались в своем неистовом беге, у нее еще явно оставалось несколько мгновений свободы.

Вот она, приплясывая, сорвала и лифчик, жирные груди и складки на животе тряслись при этом в лад ее движениям...

И когда псы добежали до нее наконец, она уже взялась обеими руками за резинку своих голубых трусов... Когда они схватили ее за плечи и запястья, она стала вырываться и

взвизгивать, но так, будто ее не хватают, а к ней пристают, будто ее не арестовывают, а лапают...

Вот и все. И она исчезла, как видение, за толпою мундиров и статских спин... И уже заревели моторы, уже помчалась и понеслась городская жизнь полным ходом, как будто никакой неловкости не произошло...

А когда я начинаю копаться в себе, искать, откуда же она берется, эта зависть, которую я испытываю к простолюдинам, мне приходит в голову, что тут все непросто и что чувство это родилось отнюдь не в самое последнее время, а, пожалуй, имеет в России свою любопытную историю... Мы обязаны этой завистью, как и многим другим, своему императору — первому из императоров.

Только, Бог мой, до чего же это чувство выродилось — моя зависть уже не к цыганам, не мужику Марею, не к Платону Каратаеву или к косцам, а к несчастному пьянице да к бесстыдной бабе...

Так вот и хочется снять, в конце концов, пудренный парик и шпагу, кафтан вместе с камзолом, шелковые чулки и башмаки с пряжками, поклониться по старому обычаю в ножки, в ножки, да и сказать:

— Спаси Бог, батюшка Петр Алексеевич, премного благодарны, недостойны мы твоей царской милости, великий государь...

Я теперь кроме смерти только одного еще боюсь.

Я боюсь, как бы эти мымры мои — племянницы (а они в своем развитии немногим дальше ушли, нежели соседка снизу), как бы они не вышвырнули сгоряча эту самую папку — его Цистерну, мою Цистерну — в тот самый день, когда они примчатся сюда за наследством, когда начнется тут отвратительный дележ, моего барахла... Ах, как бы не угодило это все на свалку, как бы не вручили это снова тем помоечным детям...

И тогда... тогда просто круг замкнется...

А что бы было, если бы дети тогда, собирая макулатуру, шли не снизу вверх, а сверху вниз?..

ДЕВЯНОСТОЛЕТНЯЯ

— Кто там?.. Ай, это ты? Ты?.. Пришел, опять пришел?.. Не забыл старуху-то... Иэх, ты... Иэх, ты... Дай-ка я на тебя погляжу. А уж ты, чай, думал, померла бабка-то старая. А я все живу, все живу... Господь не прибирает. Уж не знаю, на что, а живу... А все ж пришел ты к старухе-то... Ну, спаси ты, Господи! Дай тебе Бог дожить до моих годов, да вот так-то бегать, как я бегаю... Девятый десяток дожила, помирать пора... А я все бегаю, все бегаю... Летось-то уж не знаю, как и жива осталась. Натерпелась страху-то. Надо бы поседеть али дурочкой быть, а я вон все за Бога держусь. Только Он и спас. Лежать бы мне теперь в яме, да вот Бог свободил. Не пришел, видно, час-то... Уж не ведаю, в каком и месяцу, только что осенью... Пахать приехали, везде пахать. Все усадьбы. У нас-то тут, в Вантине, только что в двух домах и живут. Мой — третий. Четвертый еще стоит, да только сломают его скоро. Не дадут ему быть. А живем-то все по две да по одной. В маненьком дочь ушла от мужа, тут живут. В крайнем, там — одна. А была ведь наша деревня восемнадцать домов. И уж все подчистую нарушилось. Как скотину от нас угнали в чужой холкоз, так тут все и побегли. Кто на станцию, кто в Горький, кто — куды... А тут гляжу — батюшки мои! — председатель.

Конечно, уж он на машине ездит. «Бабушка, твой огород будем ломать». — «Нет, говорю, — не будете». — «Нет, — говорит, — будем!» И так-то строго сказал: «Пора подышать!» А я: мол, я нарочно буду жить!.. Так и уехал. И этим, трактористам-то, видать, сказал, что, дескать, не пахайте. Постояли, постояли, да и поехали. В соседней деревне, в Каширине, семь огородов ломали. Ломали, да корчевали, да пахали. Там, в Каширине, домов семь еще не нарушены. Там большая деревня-то, поболее нашей. На два порядка было... Вот там и пахали. У тех не ломали, в коих живут. Потом гляжу — опять к нам едут. Батюшки мои! Дерево на тем конце повалили да повезли на тракторе-то в Илевники. Они тама, в Илевниках-то, на квартире стоят. Какие у них трактора, уж я не знаю, у них чего. Ведь корни-то какие, и все выломали. На тракторе эдак-то не выломаешь, а у них такие способные машины... Ну, я тут маненько сметила... Тоже уж не пробка. Пошла скорей в соседнюю деревню, у Паши Анисимовой там ночевала. Вроде как тогда еще не обробе-ла. Пошла утром в церкву, в город, да там нашла подружку. Побирושку Поленьку. Она все у церкви стоит, милостыньку просит. Поклонилась я ей в ножки. «Уж пойдем, Поленька, Христа ради. Поживи ко мне». С ней-то и были вдвоем. Кабы не она, уж бы нежива была... Вот ведь и сейчас рассказывать не могу — плачу. А они все в Каширине там ломали. Потом гляжу — прошли мимо окошка Я как увидела, так меня затрясло. Всю затрясло... Ну, думаю, конец... Машины-то они тама на свободных участках бросили. Сами прошли мимо окна. Долго их не было. Уж чего там делали — не знаю. Выпивали, нет ли? Уж трезвые не пойдут. Пришли в дверь. Бот! Бот! Бот! — в дверь-ту кулаками. Меня хоть затрясло, а все ж не сшибло. «Кто тут?» — «Отпирай!» — «А чего вам нужно?» — «Отпирай!» — «Не отопру!» — «Сказано последний раз: отпирай!» А я говорю: «Я, мол, не отопру. У меня, мол, приехал внучонок с товарищем...» Сама набираюсь духу вру. Никого ведь у меня нет. Только что она, Поленька. «Не отопру! говорю. — У меня, мол, внучонок с товарищем выпивши на печи лежат. Если вас, мол, впустить, что у вас, мол, получится? Они там выпивши двое внучонок с товарищем. Кто, мол, первы в тюрьму-то пойдет которы...» А сама уж не могу. Привалилась к стенке на мосту в коридоре... Ну, говорят: «Огород ломаем твой... Обломаем, — говорят, — огород». А я мол: «Нет, не обломаете. Кто, мол, кому обломает? Двое-то вас не упустят. Внучонок с товарищем...» А и нет никого. Одна Поленька А они как хлопнут в дверь ногой ли, чем... Я к стене-то так и упала. Лежу... А уж слышать — загремели трактора-ти... Вроде как в Каширино... А я лежу. Поленька-то, Поленька-то мне: «Офросенька, поехали!.. Офросенька, поехали...» А я лежу. Принесла она воды-то холодной. Намыла меня, попила я маненько... Утром-ти встали, глядим, яблони, терновник поломаны... Скорей в город. Она-то в церкву, а я к Славику, к внучонку. «Ныне же езжай за мной, я там не могу жить». «Ныне, — говорит, — не могу, я работаю». Другим-то утром взял машину да забрал меня в город... Так ведь всю зиму и не жила тут, дома-то... И уж откуда они приехали с такими-то тракторами? У нас нет таких и тракторов, кои деревья ломают. Может, говорю, пожаловаться кому на них да на него, на председателя-то? Он знает, поди, им и фамилии... Только внучонок говорит: «Не надо, баба. Сам боюсь. С такими людьми свяжешься, еще убьют. Хорошие бы терновник ломать не стали. А с такими-то связываться...» Сыновий сын внучонок Славка. Ты видал ли его? Мать его рано померла, маленьких их двое покинула. Да отец с войны не пришел. Двух сыновей у меня война эта взяла, да зятя — третьего. А мужа-то у меня еще на той войне, в четырнадцатом году убили... Вот они мне двое внучат и остались... Вырастила их как своих. Так-то он, Славка, хороший. Только уж винцо стал выпивать. Пьет-то мало, оно его сразу сшибает. Вот придет, скажу, был ты у меня, не велел ему выпивать ни капли. Только что не послушает. Теперь еще бабы-то озорные. Ой, какая плутовка ему попалась. Пришел выпивши, она брякнула его на пол — да и лежи... Нехорошо. Тощий он стал. А вот, гляди, восьмой год с ней живет. Я ей ничего не сказала, только поревела да уехала. Всю-ту зиму не жила дома. Слава Тебе, Господи, люди-ти хорошие еще есть. Второй год на квартире держут. Вот и живу. Сплю у них на печи. Благодать! Молоко — не считаются, коли не грех, наливают... Я ведь и смолоду так-то привыкла: среду и пятницу соблюдаю — пост... А как же?.. В среду-то Его, Спасителя, пымали — в каких Он руках-то, а мы тут наедемся?.. А в пятницу-ту распяли Его, а мы опять наедемся да напьемся... Да... А вот по весне опять перебралась домой. Уж больно охота в своих-то стенах помереть. Всю жисть тут прожила, ведь всю

жисть... Наверно, уж годов шестьдесят... Куда там? Боле... Восемнадцать годов сюда замуж вышла Вот и считай. Купили мы дом-то этот с мужем. Сначала-то старенький был, а потом купили этот. Купили после дяди. Он уж двести годов стоит. Это лес-то мугревский, дедушков... Вон, гляди, бревны-то какие. Летось сымали на фотографию Все измерили, все, все — все бревны. Все записывали и вышину, и потолок, и печь-ту... Ну, начисто все. Увезем, дескать. «Наверное, — говорят, — бабушка, в музей уедешь». А я: «Нет, не поеду. Останусь, мол, тут, не уеду». Всю жисть тут. Никуда не уезжала, нигде не работала, опричь крестьянского-то дела. Нигде не странствовала... А вот и наш холкозный-то председатель, Петров Василь Иванович... У него контора-то в Пировых, а сам-то он федурниковский. Тоже, может, выпивши был. «Помирай, — говорит, — скорее. Пора, — говорит, помирать». А я мол: «Не хочу». — «А когда?» — говорит. «А вот коли наживусь». Это уж его дело. Он приказал пахать тракторами-то тими... Вот его бы пострацать-то бы маненько. Притянуть бы его маненько хоть с какого краюшку... А ты в лето-то у меня еще побывай. Не один раз побывай. Вот лук пойдет, огурцы... Побывай к старухе-то, побывай... Уж кабы не Бог, да не Поленька, да не сумела бы я наврать, то уж теперь бы я, поди, заживо в яме-то сидела. Толкнули бы, да и дело с концом. Живу бы бросили погребать. Ям-то у нас полно. Вон у меня три ямы да рядом три... Да вот Бог свободил. Не знаю, надолго ли... Вот так и лето буду на Бога надеяться... Я все за Бога держусь. Вот и человека он мне дал — Поленьку. А теперича мне — чего? До ста годов надо доживать... Обязательно. Чего ж теперь делать-то?

март 1971

Ах ты бедный мой старший следователь, никак не снижается преступность в городе, не успел еще толком распутать дело о расхищении метилового спирта из цистерны, а уж новое дело подоспело — уперли со склада сто листов оцинкованного кровельного железа на кладбищенские обелиски тем самым личностям, что при жизни причастны были к краже спирта...

Иногда среди ночи просыпаешься с мыслью — бежать отсюда скорее, скорее в Москву, к Садовому кольцу, к бульварам, где у домов фасады и дворы., где каждый дом глядит по-своему, где рельсы, где трамваи еще звенят, где я прожил столько лет, всю мою жизнь... И тут же вспомнишь, перевернувшись на другой бок, на углу — аквариум кафе, наискосок парикмахерская-аквариум, этого дома нет, тот тоже сломали, тут втиснули этажерку, тут тоже, площадь изуродовали, по узкому проулочку катит авто, разукрашенное цветными гандонами, на каждом шагу мастерская — «Срочное изготовление дамских поясов и пуговиц!» (Что за срочность такая? Пока муж не вернулся?)

Представишь себе это и начинаешь понимать, что ностальгия действует не только в пространстве, но и во времени. Главным образом во времени...

Место, где я теперь живу, представляется мне невероятным, фантастическим дортуаром. Сотни тысяч покидают его всяким утром и всякий вечер возвращаются сюда, чтобы выспаться и снова уехать... Здесь храпят, спят пьяным беспробудным сном, страдают бессонницей, совокупаются на тысячах и тысячах коек...

Здесь на каждом шагу школы и ясли — повышенное деторождение как бы предусмотрено...

А как насчет повышенной прочности перекрытий?

Так и кажется, как-нибудь в полночь наша этажерка не выдержит колебаний и рухнет...

Здесь никогда не бывает совсем тихо.

Днём на соседней стройке ревут какие-то краны и моторы, под окнами кричат дети и лают собаки, по вечерам начинает работать полным ходом лифт, и в нем какая-то штука страшно щелкает, почти стреляет, сосед слева сверлит, строгаёт, лупит молотком, одинокая шлюха сверху запускает магнитофон, у соседа справа рявкает телевизор, время от времени захлебываясь нечеловеческим — «г-о-о-о-л!»... И когда к ночи наконец почти все это стихает, то вдруг неотвратимо приближается со своим лязгом и гудками железная дорога, та самая, старейшая, граф Петр Андреевич Клейнмихель, душенька...

А по субботам тут звонит, кричит во все свои слабенькие колокола старая церквушка — кирпичная, крошечная, принадлежавшая стертому с лица земли небольшому селу... Ах, как жалко ее, очутившуюся вдруг в страшной сказке, в жутком сне — окружили ее со всех сторон неизвестно откуда взявшиеся бетонные громады, и вот носится среди них ее безнадежный звон, ее отчаянное «ау!», бьется о фасады и торцы этажерок, жутко отдается в замкнутых пространствах...

А соседняя с нашей этажерка — не чета другим. Ее возводили за свои, так сказать, пречистые господа сотрудники тайной полиции, кооператив «Гранд опера». И на площадке перед фасадом у них — все «фиаты», «фиаты», тридцать пять тысяч одних «фиатов», — лазоревые, как полковник из сна, красные, как портьеры в кафе Алатр...

Меня особенно умиляет один из этих соседей. Он ухитрился затянуть железными прутьями все пространство над своим балконом. Тоже в своем роде характер. Дескать, я — на свободе, я — дома, а весь мир у меня — за решеткой! Си-ди! То-то!

За квартал от нас они довольно давно сооружают что-то такое весьма пространное, кубическое, с большим количеством просветов, бетонных опор и прочих атрибутов супсрсовременности... И лишь вчера я заметил у них щит, который оповещает, что здесь возводят

— Институт Советской Торговли...

Чему же тут, позвольте спросить, будут обучать?

Врать? Воровать? Обвешивать? Хамить? Устраивать бессмысленные очереди? Прятать товары под прилавки? Спекулировать?

Я ко многому уже привык. На многое можно не обращать внимания...

Даже на то, что сосиски у них в целлофане, даже на это апокалиптическое «г-о-о-о-л!» за тонкую стеною...

Но вот к чему я никак не могу привыкнуть, так это

— отсутствие у них чувства юмора и способности воспринимать смысл слов.

Ну что это за кондитерская фабрика имени Марата?

Что за венерический диспансер имени Горького?

Венерический диспансер должен быть имени Мопассана.

А имени Горького — туберкулезный диспансер.

Я при случае мог бы предложить им целый список наименований...

Чем, например, плохо — глазная больница имени Гомера? Или Милтона?

Фабрика ортопедической обуви имени Байрона?

Институт переливания крови имени Робеспьера?

А уж если так хочется почтить и Марата, то хотя бы так — завод бытовых ванн Жана Поля Марата и Шарлотты Корде...

Нет, упаси меня Бог! Я не создаю себе задним числом...

Я прекраснейшим образом отдаю себе отчет в том, что не они, вернее не они одни, тут виною...

Нет, но они вступили в естественный и тесный союз со всем, что было самого отвратительного в достопамятном старом времени, — срослись с российской тупостью, с безалаберностью, с ленью, с добровольным рабством, с удручающим отсутствием самоиронии, с бахвальством, со всем тысячелетием беспорядка и бестолковщины, уже царившей на Руси...

Симбиоз старья с новой властью, вот что нас губит на корню...

БАРЫНЯ, БАРЫНЯ...

Что? Попить? Пейте, пейте! Прямо из ведра и пейте... Вода у нас чистая, ключевая... Этот колодец, между прочим, метров пятнадцать глубины... Барынин колодец. Так и зовем — Барынин... Я ведь еще и сам ее помню, Барыню... Только что называлась Барыня, а бедней бедного жила. Старая была престарая... Крючком согнутая ходила в халатишке засаленном... А колодец этот у нас на все село единственный. И место-то тут какое, ты погляди. Все заречье видать, и большая дорога... У нее тут имение было, у Барыни... Теперь уж тут ничего не узнаешь, а ведь так-то вот от колодца дом шел. Большой, двухэтажный... Весь застекленный — окна, двери... Вид такой церковный, все такими полукружками было. Тут тебе стеклышко фиолетово, тут розово, тут оранжево... Столбы резные... Это — большой-то дом. А за ним церква стояла деревянная. Только уж она, Барыня, так ее и не достроила... А уж как хотела. Потом по леву руку маленький флигелек, келья. И по праву руку такая ж... Сарай был, кухня. В сарае-то тарантас, сани... Ее так-то уж по имени никто и не знал. Все только: Барыня да Барыня... Простая была... Вот к Аннушке, в крайнем-то дому живет, бывало придет, сядет: «Аннушка, я к тебе». Картошки поест. Хуже бедных была... А летом к ней в большой дом все из Москвы дачники едут. Барыни, барыни, баронесса... В кухне тут тебе обед готовят, варенье варили... А сама-то она во флигеле жила, в келье... Так поест кой-чего. Кошки у нее были, собаки — табунами. И ест она с ними с одних блюдечек... Как-то отец мой, покойник, зашел к ней. Она его любила. Все бывало: «Голубчик, голубчик...» Зашел как-то к ней. «Зайди, зайди, голубчик, давай чаю попьем». А из этих блюдечек кошки да собаки едят... Отец сказывал: «Меня чуть с души не своротило». Уж на что бедная была, а церкву построила... Уж очень ей хотелось. Это она за отца... Отец у нее тут похороненный был в склепе... Про мужа-то она никогда и не поминала, а вот за отца. Над его, значит, могилой... Мы ведь и не знали, что тут склепа... Это уж потом получилось. Только что могила была, крест стоял железный, с венком... Да... А потом Барыня четыре столба вокруг поставила, а на их церкву... Только денег-то у Барыни уж не было, кончились деньги-то. Так вот, сказывают, она луга свои заречные, да лес у ней был, да вот и имение свое — все продала тогда фабриканту Демидову... Все продала Барыня, чтобы, значит, это отца-то почтить, церкву-то поставить... А тут уж и революция, церкви-то, они и не нужны стали. И Демидов уж не попользовался купленным. Тут и в городе-то их из домов попросили. Так церква у Барыни недостроенная и стояла. Но уж рамы были, полы настланы, потолок...

Алтарь уж был. Только что иконы не повешены, а так-то все готово. Маленькая была церква, деревянная... Я ведь почему знаю, мальчонком еще с пацанами лазили в окно. В церкву-то... Окна были — где квадратики, где овалы, где круги... А так-то Барыня образована была Отец сказывал, три языка знала. Книг у нее было много, да все ноты эти для пианины... Потом все в кучу стащили да жгли. Ну, а которые книжки с картинками, те мальчишки растаскивали. А без картинок-то они кому интересны?.. Или вот ноты те... Сначала у Барыни лошадь была да кучер Прокопий. Вон в том доме жил. А уж потом она лошадь продала, он ее на своей возил... А то и с Аннушкой на телеге ездила Барыня. И обряд тут уж у нее какой — шаль да вельветово пальтишко... Молоко Барыне наши носили, деревенские... С большой дороги у нее огонек всегда было видать... А в буран мужики к Барыне ночевать ходили. «Пойдем, дескать, к Барыне». Она не запиралась даже. Отец-то ей, бывало, скажет: «Барыня, Барыня, больно просто ты живешь... Наскочут ведь». А Барыня ему: «Голубчик, если меня убьют, значит, судьба у меня такая...» Хотелось ей, видать, мученической-то смерти... «И потом, — говорит, — со мной Боженька и шесть дружков». Это наган у нее какой-то был, говорят, шестиствольный... Так-то Барыня отцу говорила. И вот утром баба одна наша понесла ей молоко. Идет колидором, а шкапы-то все отворены, да ноты эти все из шкапов повыкинуты... Баба идет, только шкапы закрывает... Может, думает, Барыня угорела? Да и к ней скорей бежит... А она-то, Барыня, лежит на кровати и на стул свисает... Вся багровая. И на темени мозг видать... Ну, тут в колоколо ударили. У нас там часовня была. «Барыню! Барыню убили!» Все сбежались, а Барыня так на стул свисает с кровати и стонет: «О!.. О!.. О!..» — «Барыня, кто тебя? Барыня, кто тебя?» Уж она ничего не ответила, не сказала... А знала, видно. Тут ее на лошадь, да и в больницу. Только не доехали, дорогой померла Барыня. Назад вернулись... Не довезли до больницы. А кровать-то у нее напротив двери стояла, и огонек всегда ночью горит. А на столике лежал наган припасенный. Барыня, наверно, протянула руку — вот я в тебя выстрелю... Это мы уж после тогда плановали. У нее рука была расщиплена. Ей со свету-то в темноту не видать целиться... А тут ей по руке и шарахнули, выбили шестиствольного-то дружка... И тринадцать ран складным ножом в щеки. Мучили Барыню перед смертью, врач сказывал... Где, дескать, твои деньги? Все думали, есть у ней деньги... А уж чтоб прикончить, по темени шарахнули. Мозг был виден... Это уж в самую революцию, тогда и не искали их. Подумаешь, Барыню прикончили... У нее только что пропало — зеркало со стены, наган этот да шаль черная, она зимой ходила. Потом зеркало это у одних появилось. Было это зеркало у них, только теперь уж и они умерли. А кто искать-то будет? У Барыни никого не было. Жила одна поедная. А денег у ней не нашли. Только что под матрацем вышитое это... Чем в церкви Дары покрывают, это нашли... Это она сама вышивала для церкви. А дом-то потом еще стоял. Сколько лет... И дом, и кухня, и церква... Только уж потом его, дом, внутри весь ободрали... Трюмо было, как в хорошем магазине, стулья на колесах мягкие, пианина... Все тогда вывезли в народный дом. И куда все делось? Видно, по начальству пошло... А дом-то весь растаскали. Такая по ночам таскотня была. Сначала рамы стали снимать, двери. Потому что ручки хорошие были, никелированные... Потом внутри весь ободрали — плинтуса, тес... Израцовы печки — и те растащили. Тут все наши деревенские воры шабарили. А мы, молодежь, туда гулять ходили, беседу там устроили... Без дверей он стоял, без рам. Мальчишки камнями все стекла цветные повыбили... А гулять в нем хорошо — и холодок, и дождик не каплет. Гуляли мы там каждый вечер. Только что в церкву еще заходить боялись — стояла она на замке закрытая... И вот, помню, в самый-то Духов День, на другой день Троицы, сестра у меня замуж выходила... Пропивать сестрицу-то к нам ехали... А тут часа в два, в три вспыхнул там пожарище... А она у нас за симпатию выходила. Такой был красавик... И вот старики считали, что плохо дело. Примета нехорошая — на свадьбу пожар... Парень-то был высокий, красивый... И вот на шестой год оставил он ее. Помер Порок сердца... А к нам ехал тогда пропой. А мальчишки-то маленькие, наверно, курили на чердаке ноты-то эти, вот оно и занялось. А ведь она дранкой крыта, в Троицу, в сухоту-то такую... Ударили тут в колоколо: «Барынин дом горит! Барынин дом горит!» Тот-то вон край мужики едва и отстояли. Только еще овин сгорел... Ну, и все Барынино именье подчистую... И церква, и кельи... Большой-то дом больно красивый был. Жалко... И весь стеклянный, насквозь его видать... Раз она,

Барыня-то, попов к себе ждала, да в большом доме стол накрыла... Они, попы, ведь тогда ходили по домам в престол да на Рождество — Христа славил... Ну, вот и Барыня готовилась — накрыла стол. Пошла опять в кухню за новым, за кушаньем, а дверь-то стеклянную не заперла... А мальчишки наши и увидели. Влетели туда, глядят — сыр... Мы ведь раньше-то сыру не знали, не пробовали, что такое. Глядят, сыр нарезанный стоит. Схватили да и убегли в болото. Давай пробовать... Тьпфу ты, какая гадость!.. Все побросали... А Барыня после жаловалась: «Только, — говорит, — я вышла, они у меня сыр стащили». Добрая была Барыня... Ну, а как уж тут все сгорело, мужики наши давай фундамент ломать, кирпичи таскать... И вот как тут получилось. Мальчишки там по саду бегали, играли. Сад-то еще был. И вот слышат, вроде в этом месте под ногой зыбит, гудит. Вроде там пусто... Ну, давай ковырять, а там кирпич. Это под церковью-то, где церковь у Барыни была... Кирпич. А они давай камнем бить... Все клады тогда искали. Пробили в кирпиче дыру... Кинули камень, а там загремело. Склепа, значит... Гроб-то был оцинкованный, как все равно вот ведро. Они все больше да больше расковыривают... Расковыряли, сделали как в подполье лазею... И гроб этот видать. Пойдем вот так же, бывало, по воду на колодец да полюбуемся — там гроб стоит... И как-то тут в воскресенье мужики наши подвыпили да и уговорились: давайте разломаем гроб. Пожалуй, что там золотая шашка есть. Отец-то Барынин военный был. Говорили, генерал. Может, шашка золотая или золотые часы... Ну, Барыня-то не дура, она золотую вещь не закопает. А мужики-то дураки, думают захватить да поделиться... Зажгли сноп соломы, дело-то уж под вечер. Иван Иванович Шеин прыгнул туда и давай вскрывать этот цинковый-то гроб. Ломом. Думает, там часы золотые... Долго ломал, ведь завинчено все, да и заржавело. А там внутри гроб уж деревянный, чистый. Ничего ему не сделалось, вода-то не проходила... А внутри чего — костюм у его, кости, белая подушка, волосы... Уж исшеило все, истлело... Все переверостили, склепу тут народ окружил. Ничего не обнаружили, чтобы там шашка или какая шпага... Или золотые часы. Только что медную пряжку нашли... Помню, волосы были желтые... А так все истлело. Переверостили могилу и разошлись народ... Его ведь еще когда хоронили... Я-то не помню. Знаю только, Барыня по нем поминки устроила. С неделю сюда со всех деревень шли обедать... Только что объявили, чтоб со своими ложками. Все шли целую неделю. Кто хочет, поди... Кому только лень не пошли, а так все тут были... Это Барыня ему, отцу-то, поминки делала... Отца поминала. Добрая была Барыня. И великая была лечебница. Лечила всех, никому не откажет. У нее аптечка была, травы Барыня выискивала. А уж у кого чирей, нарыв ли, примочки какие — всем помогала... Я раз прибегаю к ней: «Барыня, Барыня, дай пластырь». — «А у кого чего болит?» — «У Коли у братца палец нарываает». — «Николке бы не надо давать, он у меня собачью кастрюльку кинул». Три собачки были у нее мохнатенькие... Никогда не откажет. И всех нас, ребятишек, по именам знала... Ну, расковыряли мы тогда эту склепу, а тут как на грех такая оказия... Барыниным садом тогда гоняли стадо. Ну, одна коровенка — то ли на нее бык насел, то ли своя же корова — только что залетела она в эту самую склепу... Ну, опять в колоколо: «Корова в склепу попала! Корова в склепу попала!» Чего тут делать? Народ собрался, ахают... Как ее вынешь? Веревкой поуродовать можно... Ну, тут вышел мой отец покойник. «Неси, — говорит, мужики, лопаты». И давай в склепу-то землю кидать. Накидали земли, вровень стало, ну, корова-то и вышла... Да... Так вот и склепу зарыли. А уж тут чего осталось? Только что сад... Да внизу у Барыни была насажена березовая роща. Я еще мальчонком, помню, грибы белые там собирал. Рощу свели. Еще вкруг всего имения акации росли. Так квадратом, и канавы были. Забора-то у Барыни не было. Ну, акацию эту мужики вырубали, все плетни себе городили. Тоже всю свели... Вот и не осталось ничего... Только что этот колодец. Да место уж больно красивое... А колодец давно копанный. Мне уж шестьдесят шесть, а он все был, колодец-то. На свои деньги Барыня копала. У нас мужики и тут копали, и там, а все воды нет. А вот Барыня нашла. Ключи там какие-то... И на самой, гляди, горе. Вот добро-то какое оставила селу, поит нас водою сколько лет. А вода-то какая, вы распробуйте... И вот раходит. Барыня его любила, он разговористый был мужик. «Голубчик, — все говорит, голубчик...» А он ей: «Барыня, Барыня, вот ты, говорят, поешь да на пианине своей играешь. Хоть бы раз мне чего сыграла да спела, а то ведь никогда». А голос, сказывают, у ней был замечательный... Вот уж

сколько лет прошло, и отец помер, а я так и не забыл песню ту, что ему Барыня пела. Отец ее часто вспоминал, как она ее пела... Открыла Барыня пианину, заиграла и запела нараспев:

По небу полуночи ангел летел

И тихую песню он пел.

И месяц, и звезды, и тучи толпой

Внимали той песне святой.

Он пел о блаженстве безгрешных духов

Под кущами райских садов.

И звук его песни в душе молодой

Остался без слов, но живой...

июль 1971

Троллейбус выплевывает меня на конечной остановке, а сам делает крутой вираж, чтобы катиться в обратном направлении... Я стою среди этажерок на каком-то подобии площади и озираюсь. Это еще хороший час, и меня не толкают, не сбивают с ног, не обдают из-под колес грязью...

Не то чтобы безлюдно, но все тут выстроились покорными хвостами возле палаток и ларьков... Проходя, я заглядываю через спины — чем торгуют?... С отвращением гляжу на угреватые апельсины, на чумадые яйца в картонных сотах, на обернутые в целлофан клочки растерзанной коровы...

Надо миновать еще одно развеселое местечко... Большая желтая будка с пивом, а вокруг роится мужичье... Все загажено тут до невозможности жестяные банки, окурки, рыба кожура... А гегемонстры с ближайших строек устраиваются прямо на земле, ставят кружки, тут же на газете хлеб, колбаса, у кого-то водка... Кто-то уже спит пьяный, кого-то рвет спазматически...

Боже мой, неужто они и впрямь не достойны ничего лучшего?..

Я возвращаюсь домой...

Вы видели когда-нибудь, как русская баба моет пол?

Как она подоткнет подол, как сложится в поясном поклоне, как заголит свои необъятные розовые окорока, как начнет в этом положении пятиться на тебя, стоящего на последнем островке, спасающегося на крошечном кусочке сухого пола, а она надвигается всем своим внушительным дерьером медленно и неотвратно, как оползень, как эпидемия, как судьба...

Тетя Паша мыла лестницу и опускалась по маршу шаг за шагом, со своим ведром, со своей тряпкой, со своими брызгами и тоненькими водопадными струйками, а я стоял внизу на площадке, почти прижавшись к двери лифта, и внимал ей, отвечающей на мой вопрос... Она говорила натужно, с передышками, слова чередовались у нее с всплесками воды в ведре...

— Как же... был у ней, был... Как не знать... Культурный такой... Обходительный... Да ведь она его схоронила... Уж год, как схоронила... Больше году... Поехали они... это... тогда на юг... Провалился он пропадом... этот юг... Ну, а там он... это и того... колеру подхватил... а она не заразилась... только что его схоронила... Она, вишь, жива... а он, вишь, помер... да... холера... там его и схоронила... а так-то он у ней хороший был... культурный... ничего не скажешь... культурный...

Тетя Паша сошла с последней ступеньки, выпрямилась и подхватила ведро, а я все стоял у двери лифта не в силах отойти, не в силах двинуться, не в силах пальцем пошевелиться...

Культурный...

В тени вечерних кипарисов...

Где это я читал, что на Востоке кипарис считается деревом смерти?..

Вечером того же дня мне пришлось разворошить четыре картонных ящика в углу моей комнаты, пока я отыскивал нужный том Брокгаузовского словаря, и я не смог отказать себе в мрачном удовольствии, и я выписал несколько абзацев из статьи «Холера азиатская»...

Милостивые государыни и милостивые государи! Наш концерт подходит к концу... Сейчас разрешите мне объявить несколько необычный номер, принадлежащий к так называемому эпистолярному жанру... Я обнаружил это письмо не сразу. Наверное, месяца через три после того, как дети принесли мне Цистерну. Оно было сложено вчетверо и находилось среди таких же сложенных листков в конце папки, а до них я добрался в самую последнюю очередь... Я до сих пор не могу понять, что же это такое — недописанное послание или просто черновик...

Приспичило мне, душа Тряпичкин, настроичить тебе письмо. Да к тому же еще и лирическое — с признаниями... Застрял я что-то тут, в прекрасном своем далеке, странная вышла со мною история...

Ты, да и все вы, я знаю, удивляетесь новому проявлению моего юродства — для чего я удираю из престольной в этот паршивый городишко и месяцами отсюда не вылажу... А нынче я почему-то решил сам ответить тебе на этот вопрос, который ты мне так никогда и не задал впрямую, но, по-моему, он всегда вертится у тебя на языке. А я, честно сказать, никогда не отвечал на него прямо даже Мадам.

Это все — весьма давняя история. Ты, надеюсь, не забыл еще, как несколько лет назад я на зиму забрался в глушь вологодских лесов и преусердно строчил там пиесу для театра. Кончил я работу уже Великим Постом и стал оттуда выбираться.

Сначала был грузовик, уже тронутая апрелем накатанная зимняя дорога, потом набитый людьми и клубами табачного дыма дощатый павильончик, ожидание рабочего поезда, штурм

одного из трех темных вагонов — электричества нет за стеклами пыльных фонарей оплывают огарки, станция Вохтога — первый полудивилизованный пункт, до поезда восемь часов, глубокая ночь, на вокзале все скамейки заняты спящими, темные улицы пристанционного поселка, чудом найденный дом приезжих, заспанная баба, сейф, исчезающий мой паспорт, разноголосый храп, одна из двадцати с лишним указанная мне кровать, липкие, совершенно мокрые простыни, и это — все же удобство, синее утро, снова вокзал, два часа в сидячем вагоне, Буй — маленький костромской городок, воскресенье, река еще подо льдом, сразу за мостом церковь, на вид очень древняя, конец обедни, сотни две причастников — ТЕЛА ХРИСТОВА ПРИИМИТЕ, ИСТОЧНИКА БЕССМЕРТНАГО ВКУСИТЕ — рыжий батюшка с потиром и лжицею, — и вот, наконец пробегающий московский экспресс, чуть ли не из Пекина, мягкий вагон — совершенно пустой, лишь один человек в одном купе, он, как и положено командированному, в пижаме, скука и сожаление в его провожающем меня на верхнюю полку взоре, а там — мечта опального поэта — сухие простыни, буржуазный конверт убаюкивающего железнодорожного сна, и часа через три, когда я спрыгнул вниз с довольной и помятой от сна физиономией...

Мы наконец оказались визави с моим попутчиком, и он выплеснул на меня свою тоску по собеседнику, накоплявшуюся несколько суток. Он рассказал мне едва ли не всю свою жизнь... Но Бог с ней, с его жизнью... Он оказался врачом, нет, не настоящим эскулапом, а медицинским начальником из Тюмени... Но он, черт бы его побрал, сам того не подозревая, запустил мне ежа под череп. Он наградил меня сюжетом, пожалуй, почище тех, которыми Пушкин одаривал Гоголя. Он в простоте своей и подозревать не мог, что он делает с тридцатилетним литератором, который тогда еще изо всех сил хотел быть лояльным и даже вез в рюкзаке пьесу для театра в твердой надежде на то, что она будет поставлена...

Между прочими глупостями, составлявшими нехитрое его жизнеописание, он мне вот что рассказал... Вообрази, душа Тряпичкин, себе Тюмень... Я бы мог даже так начать: Тюмень — один из самых скверных городов и т. д. Я был там дня три — несколько старых зданий на главной улице, но все невероятно загажено за годы сталинских пятилеток (без права переписки и с последующим поражением и правах.) Окраины — чуть отраднее, сибирские деревянные дома, а потом опять мерзость — вонючие заводы, свалки и прочие прелести российского пригородного ландшафта

Словом, он рассказал мне, как несколько лет тому пригнали на один из тюменских заводов цистерну древесного, метилового спирта...

...как директор завода, кое-что предвидя, приставил к этой цистерне специального охранника...

...как ему, охраннику, долго втолковывали, что этот спирт — страшный яд...

...как рабочие завода все-таки уговорили охранника попробовать, дескать — «знаем», начальники это нарочно говорят...

...как они-таки попробовали, и отравы, конечно, подействовала не сразу...

...как пошли тащить ведрами и жбанам и как разворовали в первый же день несколько сот литров...

...как спирт стал растекаться по городу и близлежащим деревьям...

...как в местную больницу стали доставлять первых отравленных и как те молчали, боялись признаться, чем отравились...

...как, тем временем, появились и первые покойники...

...как кто-то все же проговорился, что это за отравка...

...как пустили наконец по следам милицию...

...как отравка распространялась все дальше и дальше...

...как целый жбан этого зелья попал на свадьбу...

...как команда речного катера отплыла в рейс, захватив с собой канистру и как через несколько дней над этим неуправляемым катером каркали хищные птицы...

...как выписали в срочном порядке из Москвы профессора — специалиста по отравлениям...

...как выяснилась поразительная вещь (такого сюжетного поворота нарочно не выдумашь!) — противоядием метиловому, древесному спирту может служить только этиловый, винный спирт...

...как умирающие в больнице отказывались принимать противоядие, потому что по вкусу и виду оно ничем не отличалось от отравы...

...как спаслись в конце концов только те из пьяниц, кто после ворованного спирта глотнул еще чего-нибудь, словом, кому — «не хватило»...

...и как в общей сложности на тот свет отправились почти триста человек...

Ну-с, душа Тряпичкин, а теперь признавайся, слышал ли ты когда-нибудь более российскую по своей сути историю? Есть на свете сюжет подобный этому, где бы такую роль играли сразу обе погибельные страсти нашего народа пьянство и воровство?

Что такое в сравнении с этим чума мусью Камуза?

И вообще, куда там Западу до нас. Им для трагедии нужен непременно интриган, злоумышленник, убийца — Яго, Макбет, Клавдий... А у нас сами себя травят, как мухи...

Я, конечно, в тот же миг оценил, какой лакомый кусочек достался мне, грешнику... И вот все годы крутил этот сюжет и так, и сяк, пока он не одолел меня окончательно и не погнал в эти самые края, не столь от Москвы отдаленные...

Я отправился сюда, как честный предатель, как чесатель колхозного льна, так сказать, за живым материалом. А потом вошел во вкус, пристрастился.... Книжки записные завел, чиркал в них аккуратненько... Но пока что, как ты сам знаешь, привез я отсюда лишь два десятка икон и еще кое-какой старый хлам...

Записные книжки мои тем временем переполнились, но мне теперь кажется, что ничего существенного в них нет и что я так же далек от реализации лелеянного замысла, как был три года назад.

Твердо знаю только, как это все должно начинаться:

«Вороной, весь промасленный станционный паровоз издал свой щемящий гудочек, шумно выдохнул, — толчок, и цистерна покатила...»

А кончатся должно возгласом попа на вселенской панихиде в Троицкую родительскую субботу — ... И ТЕБЕ СЛАВУ ВОССЫЛАЕМ СО БЕЗНАЧАЛЬНЫМ ТВОИМ ОТЦЕМ И ПРЕСВЯТЫМ И БЛАГИМ И ЖИВОТВОРЯЩИМ ТВОЯМ ДУХОМ, НЫНЕ И ПРИСНО И ВО ВЕКИ ВЕКОВ. АМИНЬ.

Но что же будет между двумя этими фразами, убей меня Бог, до этой минуты с

достоверностью не знаю.

Да к тому же на второй год моих набегов случилось со мной нечто вовсе непредвиденное. Я стал вдруг почти против воли сочинять, вернее, даже записывать совершенно неожиданные и негаданные рассказы и рассказыки... Меня захлестнул поток персонажей... Мне их вовсе не нужно было столько и таких. Они уже не вмещаются в мой сюжет, они разрывают его и вылезают в прорехи... Я ведь ринулся сюда за фоном, но фон этот вдруг взбесился, лезет вперед и уже забивает самую картину...

Я знаю, мне теперь необходимо сделать титаническое усилие, чтобы спасти сюжет, но я боюсь, я чувствую, что у меня уже не хватит сил для этого рывка... Кажется, я просто-напросто вырос из своего замысла, как гимназист из прошлогоднего мундира. Слишком долго я прособирался...

И вот сижу я теперь в этом своем Болдине, в своей несостоявшейся Йокнапатофе, сижу в полной растерянности... Есть, правда, неотложное дело непременно надо съездить в небольшую экспедицию. Я натолкнулся случайно на последние остатки Марфо-Мариинской обители. Ты помнишь бунинский «Чистый понедельник»? Там героиня уходит к марфо-мариинским сестрам... Но только это уж к моему сюжету ни с какого бока не подходит.

А тут еще Мадам бомбардирует письмами-ультиматумами, надобно ехать на юг, к морю... Ей ведь, кровь из носу, нужно прогуливать свои новые тряпки и тени вечерних кипарисов...

Но все это еще не беда, даже и не полбеда. А дело-то в том, что стало мне нечто совсем иное приоткрываться... И нечто это — чудовищная безнравственность всей ситуации. Нельзя мне было прельщаться ни этим, ни каким бы то ни было другим соблазнительным сюжетом. Никак нельзя, нельзя было ехать за одушевленным материалом...

Ах, мне тогда казалось все это так легко и просто: реализма хотите? Так вот же вам рреализм!!! Вот! Вот! Нате! Нате!!!

И не замечал я в своем запале, не хотел замечать до сих пор, что все искусство это — бесовское. Нет, не только мои записные книжки да рассказыки — все, все, все, вся изящная словесность начиная с Данта и кончая самим Федором Михайловичем... Как бы ни клялись они и ни божились, что преданы Христу, — все это чистейшая прелесть в полном, богословском смысле этого слова! Гоголь, Гоголь, сжигающий «Мертвые души», — вот он теперь мой новый идеал!

В мире есть Один, только Один Свет...

Я еду в Москву, мне сегодня необходимо ехать...

Я влезаю в дряблый автобус со старческим трясущимся задом, и он честно довозит меня до самого конца своего маршрута...

Я вываливаюсь в обширную лужу всего в двух шагах от дыры, куда мне следует нырнуть...

Машинка громко икает, проглотив мой двугривенный, и затем осыпает меня золотым дождем из четырех новеньких пятаков...

Вот я медленно опускаюсь в самое подземелье...

Эти кротовые ходы, эти скотопрогонные галереи, которыми мне предстоит сейчас мчаться, имеют у них теперь не только утилитарный, но и какой-то возвышенный, символический смысл. Ими, например, этими катакомбами косвенно определяется граница нынешнего ни на что уже не похожего города...

Я смиренно стою на платформе...

Я жду, когда из черноты тоннеля вырвется с грохотом и лязгом белоглазое чудище...

Нет, я не вздрогну от неожиданности — я увижу сначала, как на сортирно-кафельной стене вспыхнет отражение его бешеного взгляда...

И я стою, и я гляжу вниз, на рельсы, на их смуглые бока и накатанные серебристые спины...

И между ними зачем-то устроен глубокий желобок, такая канавка, такое углубление...

И даже сами шпалы из-за этого состоят каждая из двух частей, под каждой рельсой своя короткая шпалочка...

И тянется эта канавка вдоль всей платформы, и в тоннеле ее уже нет, и она кончается...

Зачем это?..

Ах, неужели?.. Неужели?...

Нет, вы понимаете?

Вы догадываетесь, зачем она? Зачем тут углубление?..

Да ведь это же для самоубийцы, для самоубийц! Да ведь это же им последний шанс дастся!

Вот загнали тебя под землю, швырнули тебя на рельсы, под стальные колеса... Секунда — и нет тебя, и поминай, как звали...

И вдруг в последний, в последнейший миг — такое сострадание!

Ты еще можешь спастись, можешь скатиться в этот желоб, в эту сострадательную канавку, в эту сердобольную ямочку...

Ах, какая предусмотрительность! Деликатность какая!

Да я бы расцеловал его, этого архитектора, изобретателя, того, кто ее придумал!.. Я бы руку ему пожал!

Я плачу, просто плачу от умиления!..

Сердобольная ямочка... Сердобольная ямочка!

Вот за что нобелевские премии надо раздавать...

МАТУШКА НАДЕЖДА

— Вот он наш Батюшка... Это уж самые последние годы. Можно сказать, перед смертью... Вот они с Матушкой картошку копают в огороде. Тут еще он помоложе... Вот — хороший снимок. Он вообще у нас фотографий не любил, а про эту сказал: «Пусть останется. Тут я похож». У него и на могилке такая... Он нам так сказал: «Здесь у вас маленькая обитель». Эту избушку для Батюшки Матушкина сестра купила, Вера Владимировна. Когда они после второй ссылки вернулись. В тридцать третьем году. Батюшкина Матушка была Ольга Владимировна... Сколько-то минус ему тогда дали, сколько не помню... Им тогда родные в

Воронеж советовали, а кто-то еще куда-то... Не помню. Ну, вот, а я как раз тут из Туркестана приехала в Москву. Мама у меня умерла, захотелось на могилке побывать. И вот сюда заехала, в деревню к Батюшке. А он мне строго так говорит «Сестра Зинаида, как ты мне скажешь? Куда мне ехать? В Воронеж или здесь оставаться?» Или еще спрашивает какой-то город... А я: «Почему вы, Батюшка, меня спрашиваете?» — «Нет, — говорит, ты скажи. Как ты скажешь, так и будет». — «Здесь, — говорю, — Батюшка..» «Ну, — говорит, — так тут и остановимся...» Вот этот портрет — Матушка наша Великая. Великая Княгиня Елизавета Федоровна. Это она еще в миру... Красавица была, талия как осиная. Мне еще, помню, лет всего двенадцать было, а родные у меня — дядья — охотники были, егеря... Так вот придут к отцу с матерью и рассказывают. На охоте такой-то князь был и графиня такая-то... И вот как-то рассказали они про Великую Княгиню Елизавету Федоровну. Что она такая, что строгая... Так меня тогда эти слова поразили. Я-то, девчонка, и подумала: вот она — настоящий человек... И, дура была, написала я ей письмо. Так и написала: «Я думаю, что Вы настоящий человек...» Заклеила и отослала... На конверте так и написала: Великой Княгине Елизавете Федоровне... Ну, конечно, никакого ответа, ничего... Да и я все позабыла. Училась я тогда в прогимназии Лепешкиной, на Пятницкой улице. Хозяйка была Варвара Лепешкина. Там на домашнюю учительницу кончали. И родилась я, и училась, и работала в Москве. Сорок лет прожила, потом попросили об выезде. Отец у меня работал бухгалтером. Да... И вот как-то журнал такой был — «Искра» или «Искры» — не помню... Раз приносят нам этот журнал домой, и в нем на первой странице Великая Княгиня Елизавета Федоровна. И тут у меня опять все всколыхнулось. Уж она открыла обитель на Большой Ордынке... Поглядела я фотографии, а потом опять все ушло куда-то. Я маму очень любила. Все хотела скорей зарабатывать да деньги ей отдавать... Вот это фотография — тоже Батюшка, только он молодой совсем. Еще только в священники посвятился. Красивый был Батюшка... А у Батюшкиной Матушки носик был курносенький. Уж старые они тут были, а она все говорила: «Какая же я уродина! Вон у Батюшки носик прямо точеный...» А вот они мои Папа с Мамой... Мама была очень строгая. После гимназии поступила я счетоводом в частную контору Селитринова. На Ильинке. А жили мы за Покровкой, в Гавриковом переулке... Потом меня хозяин сделал бухгалтером, и получала я семьдесят пять рублей Золотом... Так и бегала через Покровку на Ильинку. А раз, году уж в девятьсот девятом, после работы побежала я в Замоскворечье. Спрашиваю у городского: «Где тут Марфо-Мариинская обитель?» Он мне показал. Бегу по Ордынке Собора еще не было, собор в десятом году выстроился. Еще только одна была больничная церковь — Марфы и Марии, маленькая. Вхожу я, а у них всенощная, все в белом. Великая Княгиня в белом, сестры в белом... Батюшка в голубом облачении. Ну, думаю, это мне видение. Не помню, как стояла... Видение это мне... Кончилась всенощная а я никак не приду в себя... Приложилась и добежала домой через Покровку... Бегу и всю дорогу слезами обливаюсь... Дома спрашивают: «Где ты была?» «Где я была, — говорю, — вы не можете себе представить...» И опять все забыла... Вот фотография мы здесь — сестры. Белые апостольники, платья серые туалъденоровые... Одевали, кормили, поили... Одежда зимняя, весенняя... Летние пальто — серые. Осенние — черные... Чулки, все до самых мелочей... До зонтиков... А вот эти, это уже крестовые сестры. У них крест деревянный, и на Кресте — Марфа, Мария, Покров... Это уже — не послушницы. Они уже замуж не выходили. По одной в комнате жили. Там квадратные кивоты светлого дерева. Иконы — Покров обязательно (собор у нас Покровский был), Марфа, Мария... В комнате столик, кресло соломенное — мягкое, с подушкой, гардероб, стульчик, кровать пружинная с волосяным матрацем... Портреты бывали, картины. В келью никто из посторонних входить не имел права, не пускали даже родителей... А для гостей комнаты были... На окнах у всех занавески — белое полотно с розами. Три рубля вроде бы жалованья полагалось — на марки, на письма... А в одиннадцатом году переехала я с отцом, с матерью на Якиманку в дом Толдычина. И все я еще на Ильинке работала, и ничего такого в голове не держу... Замуж тогда собиралась. За вдовца мечтала с двумя детьми, чтоб сирот пожалеть... Раз мне подруга и говорит: «Пойдем на Ордынку, в Марфо-Мариинскую обитель». Как раз под Покров... Все собрались мы, братья, подруга моя... Только я вошла в собор, все у меня воскресло. Едва на ногах устояла. Брат потом дома говорит: «Вы бы посмотрели на Зинаиду,

что с ней сделалось...» Ну, тут уж я стала в обитель как следует бегать. Стала к Батюшке проситься на исповедь, причащалась... «Да, — говорит, — нам нужно... Мы сейчас набираем сестер». А про родителей моих не спросил. Я так обрадовалась, скорее к Маме. «Мама, я поступила в обитель!» — «Что?!» — Мама властная такая была. — Ничего подобного! Этого не будет!..» Вот те раз... А ей, конечно, жалко было. Семьдесят пять рублей я приносила, золотом платили — горсточку получишь. И все до копеечки я ей отдавала... Я опять к Батюшке. «Не пускают меня». — «Нет, — говорит, против родительской воли мы не можем...» Ну, я думаю, Великую Княгиню спрошу, саму хозяйку... В Больничной церкви вечером она стояла, народу никого не было. Кто-то читал правило, сестра какая-то. И вдруг смотрю: над Алтарем иконка маленькая — Богородица Скоропослушница. И от нее луч прямо на Матушку Великую... Я тогда не очень это понимала, в церковь мало ходила... «Ваше Высочество, я хочу к вам поступить, а родители не пускают». Она посмотрела на меня — а я хорошо одета, в шляпке — и говорит: «У нас трудно. Знаете, какая работа, в больнице... Ну, я поговорю еще с Батюшкой...» Обнадежили. А потом опять говорят: «Нет, без родителей не можем. Нам старцы запретили принимать без родительского благословения...» И вот семь лет я к ним бегала, семь лет меня не брали... А тут, как я маме сказала, что поступлю, мы тут же с Якиманки переехали подальше от обители. Она подыскала тогда квартиру на Малой Бронной... И я с Малой Бронной пешком на Ордынку. Не могла я у мамы просить на трамвай, она не хотела. Все спят, а я натошак утром в обитель на молитву бегу. Часть обедни отстою и бегу на работу уже на Мясницкую. Там Селитринов новое дело открыл... А жалованье я все целиком, до копейки маме отдавала... Несколько раз к Великой Княгине подходила: «Когда же вы меня возьмете?» — «Ты не умеешь маму просить». Как же еще ее просить, думаю. У нее один ответ: «Иди, пожалуйста, ты мне не дочь». Семь лет бегала. Уж тут, в деревне, последний самый год перед смертью Батюшка у меня прощения просил: «Ты меня, Зиночка, прощаешь?» «Что вы, Батюшка?» — «Да вот мы тебя семь лет не принимали... Ты бы только сказала тогда, что мама тебя не пускает из-за того, что ты много зарабатываешь. Великая Княгиня платила бы за тебя, сколько надо... А так мы не могли тебя принять. Старцы нам запрещали». Был такой у нас старец Алексей из Зосимовой пустыни. Я к нему тогда пришла, а он с кликушами занимался. Думаю, что это он с ними возится... У меня тут дело важное такое... Ну, потом «Батюшка, я к вам...» Еще ничего не успела сказать, он как взглянет на меня: «Ишь чего захотела — в обитель? Сначала послужи родителям, а потом в обитель!» Я иду на обратном пути, и вот ругаю его, вот ругаю... Что это за старцы такие? Не понимают ничего! Тут у человека горе, а они не понимают... Богородице я тогда молилась... А у нас в доме икона Казанская Божия Мать. Я, бывало, к ней стул подставляю: «Что же Ты меня не слышишь, что ли?».. Вот дура-то была... А вот этот снимок — Валентина Сергеевна, наша вторая настоятельница. Как Великую Матушку увезли, так она у нас стала Ее Патриарх Тихон ставил. Тут она еще крестовой сестрой сфотографировалась... Верила твердо. Чуть что: «Что ты, душенька? А Марфа и Мария? Марфа и Мария нам помогут...» Это у нее первое слово... Прямо детская вера была — чуть что — Господь, Марфа и Мария... Господь, Марфа и Мария... Великая Матушка молитвенница была, а Валентина Сергеевна для обители трудилась. Та была Мария, а эта — Марфа... Нас с ней в Туркестан выслали в двадцать шестом году... Пришли, обитель заняли и всем велели убираться. Только что взять личные вещи. Солдаты там стояли — охраняли... Им-то что — им только приказали. Одна сестра свою швейную машинку выносила — проходи, не тронули. А еще одна часы такие огромные, апостольником накрыла и несет. И аккурат когда она мимо солдата шла, часы-то у нее и забили... Да, а нас семнадцать человек сочли за администрацию. Всех крестовых сестер да нас с Фросей... Какая мы с ней администрация?... Только что близкие были. И слушались Как нас попросят что — так и летали на крыльях любой к обители и к начальству... Прислали нам такие билеты. При-езжайте на вокзал, с этими билетами бесплатно, отдельный вагон. И отправились мы до Кызыл-Орды, столица Казахстана Это было как раз на Взыскание Погибших, пятого февраля. Приехали туда — десятого. День Ангела нашей настоятельницы Валентины Сергеевны. Купила она нам плюшек... Мы ведь были тогда самые первые ссыльные, на нас все с удивлением смотрели... Двадцать шестой год. Пошли в НКВД. Приходим туда, нам говорят: «Будете все здесь работать. Нам здесь хорошие работники

нужны». А мы и поверили. На другой день пришли, уже говорят: «Мы вас здесь всех не можем оставить, должны вас отправить в пять городов. Вы, — говорят, — сговоритесь, кто с кем хочет и поедете...» Мы и сговорились. Настоятельница выбрала тогда нас четверых — Фросеньку мою, меня и еще двух сестер... Опять приходим к ним. «Сговорились?» — «Сговорились». — «Я — с ней». — «Мы — с ней...» — «Так, говорят. — Вы с ней? Поедете отдельно! И вы — отдельно!...» Так никому и не дали ни с кем. Тут всех нас и меня с Фросенькой разлучили. Ее — в Туркестан, а меня в Чимкент назначили. «Никаких разговоров! Поменьше говори, а то на верблюдах тебя в степь загоним!» С Валентиной Сергеевной мне потом все-таки разрешили... И вот стали мы разъезжаться в разные стороны — Алма-Ата, Козолинск, Туркестан, Чимкент... Фросин поезд отходил в четыре дня, мы с ней прощались так ужасно. Я на площадку зашла, плачу. Вдруг смотрю, Валентина Сергеевна такая печальная стоит... «Ты только меня не бросай...» Старенькая она уже была... И вот поехали мы с ней в Козолинск. Город ужасный. Домики с плоскими крышами, ни деревца, ни кустика никакого. Только один, смотрю, хорошенький домик — с крышей, деревянный. Вот бы, думаю, нам снять... Я пошла туда, вышла какая-то старуха, испугалась нас... Потом выходит старик, красивый такой... «Пожалуйста, говорит, — у меня только что жильцы уехали, могу вам сдать». — «Мы, говорю, — ссыльные...» — «А для меня это не имеет значения. Десять рублей в месяц...» У них там икона, диван, столик, полы крашеные... Только устроились, мне Валентина Сергеевна говорит: «Иди в финотдел». А мне боязно... Ну, иду на другой день. «Ничего, что ссыльные, — говорят, — нам работники такие московские очень нужны. Приходите». Жалованье мне опять семьдесят пять, только уж не золотом... Устроились мы там замечательно. Когда нас из Москвы-то попросили, старушка одна на вокзале Валентине Сергеевне корзинку сунула. А там — одеяло вязаное, Великая Княгиня ей сама вязала, на шелку, потом матрасик волосяной, белье и занавески, главное, наши — у всех в обители были одинаковые, с большими розами... Ну, это я все приладила... А тут и Валентина Сергеевна моя пошла работать к нам в финотдел. Она математик была, кончила какой-то математический факультет... Ее тогда взяли в налоговый отдел. Так начальник говорит: «Я не напасусь на нее работы». Она за два часа все сосчитает и идет ко мне: «Пойдем домой, душенька». А мне нельзя, я работаю... «Неужели, душенька, нельзя уйти домой?» Но только она недолго проработала. Через месяц начальник говорит: «Не могу я двух ссыльных в отделе держать». Пришлось ей уйти, а я осталась. И в НКВД так любезно нас приняли. Все смеялись. «У нас, — говорят, — такое доверие к ссыльной, у нее все секретные бумаги на руках». Это — у меня, в финотделе. И каждую неделю мы должны были приходиться к ним расписываться. Я им говорю, что Валентина Сергеевна старая, больная. Ну, говорят, пусть раз в месяц приходит. Раз я прихожу расписываться, а жена этого главного НКВД выходит из квартиры: «Зайдите, у меня горячие пирожки, чаю попьем». Неудобно не пойти... Только зашла я, села — входит начальник. Я испугалась. А он: «Сидите, сидите. Пейте, пожалуйста, кушайте...» И так хорошо мы жили... Только что Валентина Сергеевна у меня на табуретке сидела... И задумала я ей кресло сделать... И человек нашелся такой, сделал ей кресло. С прямой спинкой, так подлокотники... И в День Ангела я ей поставила... Она у меня чуть не заплакала. «Ну, вот, — говорит, — опять я — настоятельница». Так и жили мы с ней до двадцать восьмого года. И тут снится мне Святитель Филипп. На небе. Солнце светит, и он там стоит. А в Пятницу на Страстной повестка в НКВД. Я прихожу. «Вы, — говорят, — свободны. За вас мать хлопотала». — «Мне одной?» — «Да, — говорят, — только вас освободили». — «Я никуда от вас не поеду». Они там прямо поразились. «Ты что, праведница?» «Нет, — говорю, — не поеду». — «Гляди, она с ума сошла..» Прихожу домой. Даже не хотела говорить Валентине Сергеевне. Она сама спрашивает: «Ну, что там?» — «Да вот, — говорю, — мать за меня, оказывается, хлопотала... Освободили меня». Она так поглядела на меня: «К Фросе теперь поедешь?» «Нет, — говорю, — я вас не оставлю». Да... Так и дожили до двадцать девятого года. А тут нам всем прощение вышло. Только минус Москва и область. И мне так же. Не уехала я тогда, и опять вроде мне прибавили. Валентина Сергеевна говорит: «Сейчас же пиши Фросе, пусть все готовятся ехать в Ростов. К Святителю Дмитрию, к Святителю Дмитрию». Фрося нам отвечает: «Дорогая Валентина Сергеевна, не ездите в Россию. Здесь у нас в Туркестане так хорошо, приезжайте к нам...» А Валентина

Сергеевна ни в какую! «Душенька, она с ума сошла! Не ехать в Россию! Сейчас же пиши, чтобы все собирались!..» Так и поехали мы в Россию, в Ростов... Приехали Валентина Сергеевна, Катя, Фрося и я... Тут, в Ростове, много сестер было, они все потом в тюрьму пошли. Нашла я хозяйку дома, она нам сдала: платить пятнадцать, кажется, рублей. Зала метров двадцать и маленькая комнатка. Она торговала сама, в Ярославле с лотком ходила... И недолго мы тут пожили. Помню, праздник был, под Успение... Поехали с Валентиной Сергеевной в церковь, а Фрося не пошла. Приходим от всенощной, а она лежит у нас с мигренями. «Приходил, — говорит, — человек из НКВД, свой. Что вы, говорит, наделали? Зачем вы все сюда приехали? На вас теперь опять дело завели и опять вас всех сошлют, только уж теперь всех врозь. Немедленно уезжайте!» Так мы все и уехали от Святителя Дмитрия. А которые не уехали, все в тюрьму пошли... Фрося сначала поехала одна в Туркестан, а уж потом мы с Валентиной Сергеевной к ней... Вот она — моя Фросенька... Тут с цветами сфотографировалась. Она цветы так любила, так любила... Все, бывало, их целует. Ей наш зосимовский старец Алексей, как постригал ее в рясофор, дал имя — Любовь. И благословил тогда, чтобы так это имя и в монашестве осталось. Монахиня Любовь... Бывало, когда к нам в обитель сестры шли, он, старец Алексей, всегда говорил: «Идите в Марфо-Мариинскую. Там одна Фрося чего стоит...» В голодное время всю нашу обитель спасла. Пошла в деревню Семеновку, это за Калужской заставой, познакомилась там с крестьянами. Ну а потом они нам и помогли в революцию... А мы детей у них крестили... Я и сейчас, в Москве когда, у крестника, у семеновского живу... Девочки их, семеновские, в обители воспитывались. Одеждой им помогали, а они нам хлебом, картошкой... Церкви у них там не было, так им церковь построили по благословению патриарха Тихона... Вот фотография, как ее закладывают... Вот Батюшка наш — в митре, в облачении... А в обитель Фросю преподобный Онуфрий привел. Она жила в Харькове, сама харьковская... И вот приснился ей сон преподобный Онуфрий... Вот его икона, с длинной бородой... Явился он ей во сне и провел ее по всем местам, и где грешники в огне мучаются, и в снегу замерзшие мучаются, потом показал, как праведники ликуют... И благословил ее преподобный Онуфрий идти в Москву, в Марфо-Мариинскую обитель... А она тогда ничего еще не знала. Проснулась и стала всех в Харькове спрашивать, есть ли такая Марфо-Мариинская обитель в Москве? «Есть», — говорят. Так она в обители и появилась... Фросенька моя... Он и потом ей много являлся во сне, преподобный Онуфрий. Посты ей назначал... Один раз она ровно тридцать семь суток не ела, не пила ни капельки... А как работала! Из Семеновки по два мешка картошки — восемь верст — несла, всю обитель кормила... А мне Батюшка поститься не благословлял. Я его прошу, а он мне: «Твой пост — ешь досыта!» Слабой меня считал... А я вот, видишь, всех и пережила... Ты уж меня прости, старуху, я так бестолково говорю... У меня вечно одно за другое цепляется... Да... И вот поехали мы тогда обратно в Туркестан. Сняли у хозяйки одной, в каменном доме — две комнаты... Там к ссыльным тогда еще очень хорошо относились — узбеки, киргизы, бухарские евреи. И квартиры нам давали, и все... Церкви там в городе две были — в центре Святителя Николая, и еще два часа ходьбы — Покрова... Хорошенькая такая церковь, маленькая... Там все ссыльных хоронили. Одного киевского архимандрита, помню, рядом с Алтарем положили... Я поступила тогда в продснаб. Рублей шестьдесят-семьдесят — неплохо получала. Счетоводом была. Люди там замечательные. Прижились мы там... Двух девочек я грамоте учила. Потом одну на почту устроила, а другую — себе в помощники... А Фрося моя — там палатку открыли мороженым торговать — вот она и пошла. Потом одеяла стали шить. Фрося, прямо как художник, такие рисунки, такие узоры выдумывала... Заказы так и полетели... Словом, хорошо жили... Фрося вечером придет, я вернусь... Валентина Сергеевна спрашивает: «Сколько сегодня продала? Сколько заработали?» В церковь ходили в апостольниках, как в обители. На клиросе пели... У Фроси голос был изумительный, Апостола она читала бесподобно... А потом Валентина Сергеевна наша бедненькая слегла. Очень мучилась, мучил ее «враг» перед смертью. Мы дежурили по очереди... Ночи не спали. Вот сидим раз около нее, а она в полубессознательном состоянии. Потом повернулась. «Фрося, Фрося, погляди — преподобный Серафим... Тянет меня туда... А там так высоко, высоко...» А на другое утро спрашивает: «Что у нас сегодня — не суббота? Будет всенощная?» — «Зачем вам суббота?

— говорим. — Зачем вам всенощная?» — «Мне надо...» И теряет сознание. А это было в июле, как раз восемнадцатого числа... Как раз под преподобного Серафима... И вот только всенощная кончилась, она у нас и скончалась... Священник только пришел. Тоже, конечно, все ссыльные священники... Какое переживание было ужасное... Вынесли мы ее в церковь... Жара, скорей, скорей... И похороны такие были Боже мой!.. Хоронили возле той церкви Покрова, рядом с архимандритом этим... Народу было... Это, значит, тридцать первый год... А к нам туда все шлют и шлют, все едут ссыльные... А Фрося моя всех устраивала их и на квартиру, и на работу. В НКВД так и говорили им, ссыльным: «Идите в трудовую контору Журило». Это Фросина фамилия — Журило. Она всех устраивала, всем все доставала... Раз сижу я в своем продснабе на работе. «Иди, — говорят, — тебя там поп какой-то спрашивает». Я выхожу, думаю, как это поп?.. Батюшки мои! Архиерей! Высокий такой архиепископ Амвросий Виленский. Его выслали и с ним монахинь шестьдесят человек... Отпросилась я, идем домой... А монахини у нас в саду сидят.

Ну, тут моя Фрося развернулась... Соседи — кто муку, кто крупу несет... Суп мы им наварили — шутка ли обедом накормить шестьдесят человек... А Владыку мы определили в комнату Валентины Сергеевны. Ей как раз сорок дней было. И стал он нам рассказывать. Я плачу, смотрю, и Фрося моя плачет и платком слезы вытирает. А она увидела, что я реву, разорвала платок пополам и дает мне. А Владыка поглядел и говорит: «Сколько лет живу да свете, первый раз вижу такой раздел имущества». А на другой день услали его в Сузак. Сто двадцать километров на верблюдах, по самой жаре... Фрося ему, правда, тележку раздобыла. Корзинку мы ему с собой дали, зонт от солнца и письмо в Сузак к врачу одному, к нашему знакомому... Собрали мы его, не знаю, уж как он, бедняга, ехал... А только прислал нам врач наш письмо, что Владыка через два дня в Сузак умер. Не выдержал... Царствие ему Небесное... А на этом снимке тоже наша Матушка Великая. Это она тут в черном апостольнике сфотографировалась и тоже — настоятельский крест. Она власяницу носила и вериги, да только мы никто не знали, после уж стало известно. Она даже картошку в подвале перебирать ходила. Раз сестры заспорили, не хотят никто туда идти. Она ничего не сказала, только оделась и пошла сама... Тут уж все за ней побежали... А то еще раз пошли мы в собор, там в подвале места нам были приготовлены, чтобы сестер хоронить... А Матушка Великая тут нам и говорит: «А я хочу, чтобы меня положили в Святой Земле». Сестры тут удивились: «Как это?.. А мы тут как же?» А она больше ничего не сказала... А последний раз я ее видела в восемнадцатом году, я еще в обители не была, все бегала. После службы. В соборе уже никого не было. Она меня подозвала: «Подойди ко мне. Как жаль, что ты не можешь упрямить маму... Но мы с Батюшкой поговорили и решили тебе дать послушание, как нашей сестре. Пока твое послушание — послужи родителям. А в обители ты будешь. Будешь! Ты веришь мне?» — «Ну, ладно, — тогда думаю, что мне с вами делать?» А на тот год сестры наши собрались ехать в Зосимову Пустынь, к старцу Алексию, и меня с собой зовут. Ну, думаю, лучше мне не ехать. Он, говорят, прозорливый, сразу узнает, как я его ругала тогда, когда первый-то раз от него шла... Но все-таки они меня уговорили. И вот стоим мы перед обедней, ждем его, как он в церковь пойдет, чтобы взять у него благословение... А была у нас сестра Татьяна, княжна Голицына, высокая такая, большая... Вот я за нее и спряталась... Не заметит, думаю... И вот он идет... Подходит, сразу рукой ее отстраняет, увидел меня и говорит: «А... Зинушка пришла...» А на другой день принял он нас... И меня принял. Села я у него, и стал он мне все мои грехи говорить — от самой юности, каких я и не помнила... И вот сижу я и плачу... В жизни так не плакала слезы прямо по всему лицу, все лицо омывают... А он мне своей бородой их вытирает и говорит: «Как бы я хотел, чтобы ты сейчас умерла». — «Что вы, говорю, — батюшка, я не хочу умирать. Я в обители хочу потрудиться». — «Ну, в обители ты будешь, сама не заметишь, как там очутишься...» А ведь он это всю мою жизнь тогда предвидел... Да... А тут как раз отпуск мне — две недели. С восьмого июля, в Казанскую как раз. Я маме говорю: «Хочу провести отпуск в обители. Я уже с Фросей договорилась, с Батюшкой, с Валентиной Сергеевной». — «Как?! Это что такое? — говорит. — Какой тебе там отдых будет?» Я говорю: «Дай мне хоть в этом волю»... Нет, это уж был девятнадцатый год, Великой Матушки уже не было... Прихожу я в обитель к Батюшке: «Вот я

в отпуск к вам». — «Правильно, — говорит, — давно бы так...» Ну, а кончился мой отпуск под преподобно-го Серафима. Иду к Батюшке в кабинет, он: «Ну, отдохнула, теперь, значит, на работу пойдешь?» А я говорю: «Не пойду! Я теперь не пойду!» А Батюшка так удивленно говорит: «Как же так?» — «Как хотите, сяду вот на лестнице и не пойду никуда. Не пойду домой...» Он прямо удивился очень: «Да, — говорит, — давно бы тебе пора к нам... Все-таки сходи еще раз к маме, попроси благословения...» Я побежала пешком с Ордынки на Тверскую... Бежала, такая жара была ужасная... А сестра младшая меня встречает, девятнадцать лет, замужняя уже была... «Соня, я в обитель поступаю!» — «Ну и что?» — «Я вот маме боюсь сказать...» — «А ты скажи и все!..» Я села за стол... Мама сидит у самовара, чай разливает. Чувствую, она беспокойная. Вообще-то она со мной не разговаривала почти. Я прямо и бахнула: «Мама, я поступаю в обитель!» Как она вскочит, всплеснула руками. «Так я и знала! Докапали! Иди на все четыре стороны! Ты мне не дочь!» А я и не знаю, что ей сказать. Я говорю: «Мама, все-таки надо меня пожалеть. Сколько лет я вам служу и никому... Братья все женились, сестра вышла замуж. И никто тебе ничего не говорил, разрешения не спрашивали, сами устроились и все. А мне уж пора подумать о своем будущем. Вы же знаете, замуж я не пойду... А если бы я и пошла, разве бы я вам так могла служить, как буду вам служить в обители?...» — «Я тебе сказала: ничего мне от тебя не нужно, иди на все четыре стороны. Я тебя не знаю...» Вдруг папа приходит. Я к нему тогда: «Папа, ну когда же вы меня отпустите? Я вижу между небом и землей. Ни у вас я, ни там я...» Папа говорит: «Мать, надо отпустить...» Только он это сказал, схватила я икону — Скоропослушницу встала на колени перед мамой: «Благословляй!» Заставила ее в руки икону взять и ее руками себя кресту... А папу и забыла... И кубарем с лестницы, так и убежала. Только икону под мышку... Прибежала к Батюшке красная как рак. Целый час я бежала по Садовой улице. «Батюшка, благословила!» (Уж не сказала ему, как она меня благословляла.) — «Ну, слава Богу, теперь ты наша сестра...» Так и поступила... А вот этот снимок — патриарх Тихон. Он нашу обитель любил. И Батюшку нашего с Батюшкиной Матушкой Ольгой в монахи постригал, так что уж Батюшка стал архимандрит Сергей, а Батюшкина Матушка — монахиня Елизавета... Любил патриарх нашу обитель. Бывал часто. Встречали его... Девочки наши воспитанницы в ряд выстраивались и розы ему под ноги бросали. У нас двадцать две девочки круглые сироты воспитывались и среднее образование получали... Одинокие старухи жили, за ними сестры ухаживали. Мальчик один, помню, был расслабленный, калеки, бедные всякие... Великая Матушка снимала еще специальные дома — один для чахоточных женщин, а другой для фабричных девушек. Обеды были в обители бесплатные. Каждый день пятьсот обедов для бедных. Больница на тридцать кроватей тоже бесплатная. Амбулатория, самые известные профессора принимали... И все сами сестры обслуживали, и на кухне, и всюду. И аптека была, давались бесплатные лекарства. Сестры ходили по домам на окраины города, где подвалы. Искали бедных. Кому что нужно. У одних, например, отец безработный — работу находили. У других мать шить может, а машины нет. Машину покупали. Одежду раздавали, детям обувь. Великая Княгиня переодевалась и даже на Хитров рынок ходила, оттуда людей вытаскивать... А к Рождеству у нас устраивали в амбулатории елку громадную для бедных детей. На елке игрушки, сласти, а главное — теплая одежда, сестры сами шили. И валенки для девочек и мальчиков. А последнее дело Великой Матушки, уж она его не кончила, начала строить пятиэтажный дом кирпичный. Для бедных студентов, чтобы все для них общее. И все бы это свои бы сестры обслуживали... А сестер у нас принимали всех званий и состояний: княжны у нас были Оболенская, Голицына — и самые деревенские. И всем вначале одинаковое послушание давалась. Княжна ли ты, графиня или самые крестьянки полевые... Это уж потом по уму-разуму, кто на что способен. А вначале хоть ты княжна, а мой пол, мой посуду. Это Батюшка назначал. Он у нас был духовник и настоятель... Великая Княгиня тоже всех принимала сестер. К ней все идут жаловаться. К ней с такими делами, с которыми скорее идти к матери, чем к отцу. Она как мать была, а Батюшка как отец... А это — белый-то клобук — митрополит Елевферий. После двадцать третьего года, как нашего Батюшку в первый раз сослали, он у нас в обители служил. Тогда был отец Вениамин. А потом видишь, архиереем стал, был Ленинградский Владыка. Санкт-Петербургский... А после войны мы с Фросей тетку его навещали, совсем уж старенькая она была. Плачет горькими слезами:

«Фросенька, Веничку-то моего как обидели... Назвали-то как — Елиферь какой-то...» Да... А в Туркестане мы с Фросей хорошо жили. До тридцать восьмого года А тут приходит моя Фрося с базара и приносит открытку, а на ней так — домик и дорога. Показывает мне и говорит: «Поедем-ка мы с тобой в Москву. У Батюшки побываем...» А Батюшка наш после второй ссылки опять тут, в деревне был... Ну, сели и поехали. И у Батюшки тут побывали... А только присылают нам из Туркестана письмо, что арестовали там Надежду Эммануиловну, нашу сестру (она княжна была) и Агафью Александровну, старосту церковную... А церкви в это время уже обе закрыты были... И вот Агафья Александровна ездила все хлопотала, чтоб хоть одну на весь город открыть. Открыто хлопотала. И когда мы уехали в Москву, их забрали и обеих расстреляли... Шофер НКВД знакомый был, он потом рассказывал. Княжна очень кричала, ей тряпкой заткнули рот. Так она, говорит, наверное, задохнулась. А Агафья Александровна ехала — только молилась. Ее тоже поставили, она молча встала... Они выстрелили, она упала... Стали ее землей засыпать. А она кричит: «Я жива! Жива!» Так ее и засыпали... Мученица великая, Царствие ей небесное... Только за церковь хлопотала. И у нас с Фросей на квартире был обыск, так что нам написали, чтобы мы пока не ехали. Пока это все не уляжется... И вот приехали мы сюда, к Батюшке. Смотрим, старенький уже такой старичок в синей курточке... А сюда не позволяли к нему ездить власти. Чтобы никакого общения с ним не было. И церковь тут уж не служила, она в тридцать третьем году кончилась. Он тут сидел — ни шагу, никуда... Так только в магазин ходил... Да... А в Москве у моего брата нас не прописали. Сказали: «Мы не прописываем сейчас никого». Туда мы сунулись, сюда... Фрося говорит: «Поедем в Харьков» Там у ней много родственников было — племянников, племянниц, что-то такое семьдесят человек. Вот мы поехали туда. Нас в Москве мои родные снабдили. Громадный узел дали, там дадите своим, что же вы так приедете... Шали, платки, отрезы... Приняли нас хорошо. Там у одних племянников, там у других. А мы, по глупости, рассказали, отчего нам в Туркестан нельзя ехать. И вот все стали бояться нас прописывать. А там ловили которые без прописки. И на машинах отправляли на какие-то работы. Потом предстояло время выборов. И перед выборами такое волнение — всюду искали непрописанных... Прямо шкафы открывали. А тут мы уже жили у одной Фросиной племянницы. Молодая вдова, племянница. Хорошая такая женщина, простая... Домик собственный. И Фросе снится преподобный Онуфрий и говорит ей: «Какая ты малодушная. Ничего не бойся!» И вот Настенька, эта племянница, говорит: «Пойду последний раз попрошу, чтобы начальник вас прописал». А Фрося дала ей с собой иконку преподобною Онуфрия. Приходит она в милицию, а там прям плач стоит — никого не прописывает. Он всех гонит. Орет на многих. Ну, тут Настенькина очередь доходит, а уж она ни жива ни мертва... Вдруг он улыбнулся: «Ты, — говорит, — что так волнуешься?» — «А вот, — говорит, — ко мне тетя из Туркестана приехала, боюсь, не пропишете». И прописал! На две недели или на месяц. И мы спокойно восседали в зале выборов. И даже выбирали кого-то... Кончились наши две недели, и поехали мы опять в Москву. И опять без прописки мыкались... А тут приснился мне наш Батюшка. Будто я стою на лесенке, а там наверху икона Божией Матери, а он мне говорит: «Молись, молись... Это Одигитрия, Она все дела устраивает...» И вот одна знакомая старушка профессорша Боборыкова говорит: «Около нашей дачи школа новая строится. Поезжайте туда, живите у нас на даче. Может быть, на работу в школу вас возьмут и пропишут». Поехали мы туда, поговорили с директором. «Давайте, говорит, — давайте! Нам очень нужны работники! И счетный нужен, и технический. По хозяйственным делам человек». И прописал он нас постоянно. А потом в Тайнинку его перевели, и мы с ним туда. Комнату нам дал большую, и жили мы расчудесно. Всю войну там прожили. Только бомбили там ужасно. Там вагонный завод со школой рядом, все в него метили. Но так и не попали. А как бомбежка, мы с Фросей сидим в коридоре и молимся. И все учителя к нам жмутся. Тут все за Бога взялись... Директор очень Фросю ценил. Во всем с ней советовался и в какую краску классы красить. Всюду ее с собой возил. Была она у него правая рука... Четыре года нас в отпуск не отпускал... Так там мы и жили до сорок шестого года вместе... А вот тут, в рамке, это наша обитель. Какая она была... Ворота, тут куполок... Видишь, под ним икона... А там дальше — собор. Его в десятом году освящал митрополит Трифон... А жили вот в этих, в соседних домах. Их Великая Княгиня в восьмом году, когда они с Батюшкой

обитель открывали, купила у одной старушки. Так все, пять домов. Сначала у них одна всего с Батюшкой сестра была, Батюшкина какая-то сотрудница, а потом понемножку стали набирать сестер. К восемнадцатому году уже нас сто пять было... Тут в соборе беседы были духовные — митрополиты, архиереи участвовали... Ставили стулья в соборе, по лавкам народ и сестры... После вечерни воскресной... И тут проповеди читались, объяснения молитв... Такая у нас была духовная жизнь, это в честь Марии. А больница и все прочее — это в честь Марфы... А здесь Батюшка сфотографировался на своей квартире обительской. В скуфье вот на этом самом кресле сидит. Вот как-то уцелело кресло его и еще один вот этот молочничек. МММ — Марфо-Мариинская обитель милосердия... У нас вся такая посуда была... А кресло это так тут у него и стояло у окна. Сидит он на нем, бывало, старенький, а скуфья упадет и в ногах где-нибудь лежит. «Батюшка, — скажешь, — скуфья упала». — «Ну, вот, — скажет, — хоть скуфья смиряется, коли я не смиряюсь...» А это — церковь здешняя деревенская, какая она была. Сейчас-то вон погляди в окно, теперь что осталось — уголок один. Вон там в нише-то, ты, наверно, разглядишь, я-то уж не вижу, там икона еще — Деисус... Как ее не выбили? Это чудо. Как тут престольный праздник — на Покрова и на девятую пятницу, так ребята пьяные начинают с утра в нее кирпичи швырять. А выбить не могут. А за ними и мальчишки маленькие... Только она пока не поддается... И так вот два раза в год тут празднуют. А ведь она — красавица была, погляди-ка. По проекту Казакова. До тридцать третьего года тут служили. Только уж тогда Батюшке ходить в нее запретили. Говорят, дескать, вы приходите, благословляете всех. Чтобы этого не было. Народ вас тут встречает, вы опасный человек... Он только что ходил по будням, лишь бы причаститься и помолиться. Чтобы никто его не видел. А народ к нему ходил все равно. У кого корова телится, у кого — что. Почитали его. Вот и на могилу к нему до сих пор все идут и идут. Уж мы и не знаем, кто, а все идут. А тогда ему НКВД тут и шагу ступить не давали... Они ведь, было дело, и меня вербовали. Еще в Тайнинке, в школе ко мне явились. Раз приходит ко мне директор школы и говорит: «Вам надо зайти в Красный уголок». Я удивилась, иду. Там сидят двое. Иван Тимофеевич и Николай Александрович. «У вас фамилия, — спрашивают, — немецкая?» — «Наверное, говорю, — немецкая. Только у меня вся родня русская. И бабушка была русская. Не знаю, почему такая фамилия». — «Ну, — говорят, — как вы здесь живете? Может быть, вам трудно? Мы могли бы вам комнату в Москве дать. Картошкой вас обеспечим. А то ведь сейчас голодно». — «Спасибо, — говорю, у нас все есть. Живем очень хорошо. Всем довольны». — «А то, — говорят, вы для нас самый подходящий работник...» — «Нет, — говорю, — я и тут на хорошей работе». — «Ну, — говорят, — мы вам еще будем звонить». И позвонил мне этот, Иван Тимофеевич. Назначил мне свидание в метро «Дзержинская». Встретились мы с ним, и ведет он меня прямо на Лубянку. «Куда вы меня ведете?» — «А вы, — говорит, — не бойтесь». Входим в парадное. Там у них ковры. Зал, стол во всю длину, стулья. Роскошь — зеркала, красивая обстановка. И виден ряд комнат. И там слышу крик. Кричит кто-то на кого-то. Ну, думаю, сейчас мне тоже будет... И у меня тут со страху сделалось расстройство желудка... Ну, а потом открывается дверь, и выходит Николай Александрович, этот — в военной форме. Приглашает в комнату. Там кровать такая аккуратненькая. Сели. «Вы знаете что-нибудь о Марфо-Мариинской обители?» — «Не только знаю, я там жила». — «Что же вы нам об этом не сказали?» — «А вы не спрашивали». — «Вот вы и напишите нам, что знаете об обители, о Батюшке, о Великой Княгине». — «Это было такое дело, так людям помогали, — говорю. — Жаль теперь нет...» — «Мы сами знаем». — «Ну, а знаете, так чего же вам писать?» — «А вы все-таки напишите...» А потом стали меня таскать, стали назначать дни. «Вот вы работаете в школе, последите за учителями, что они говорят». — «Что я — шпионка?» Обиделись: «Что это значит — шпионка?!» А потом он, главный-то, уехал куда-то, который меня допрашивал. И он говорит: «Будет у вас Иван Тимофеевич временно». Один раз назначил мне Иван Тимофеевич свидание в Александровском саду. Сели на лавочку. «Мы вас, — говорит, — еще не спрашивали про деревню Семеновку. Какое у вас знакомство с семеновскими?» Ну, я и говорю: «Они наши благодети были. Близкие нашей обители...» А он: «Почему вы все молчите? Все из вас надо выжимать...» Ну, а потом я уже уехала сюда, к Батюшке. А они долго в школе интересовались, куда я делась... А вот это фотография — Великая Княгиня.

Тут уже она вдовой. Это Батюшке был подарок: «Елизавета. Память совместных трудов. 1904/5» Она ведь была принцесса Гессенская, внучка королевы Виктории... А когда еще совсем молоденькой девочкой была, там у себя в Германии, с детства она все стремилась помогать бедным. Ее прапрабабушка была тоже Елизавета совершенно необыкновенная. Она нищих любила, чудеса творила. А наша Великая Матушка очень много слышала об этой прабабушке, и вот с детства она тоже хотела служить бедным, главное, больным. А тут она девушкой еще была, и во дворце у них там мальчик, брат ее маленький, из окна выпал и разбился на смерть. Так она первая подбежала и на руках его окровавленного несла... И вот уж тут она окончательно себе обет дала не выходить замуж, а помогать бедным... А государь наш был друг ее отцу, Федору. И вот говорит он своему брату Сергею Александровичу: «Поезжай, сватай у герцога Федора дочь Елизавету». А Сергей Александрович тоже уже решил не жениться, но он не имел права отказаться от воли государя. Поехал он туда. Он приехал и поговорил с отцом. А герцог ему говорит: «Это я не могу решать, поговорите с ней самой». И вот они решили, Сергей Александрович с Елизаветой, чтобы не обидеть государя и не разбить их дружбу с императором всероссийским, и она, жалея отца, согласилась на то, что они будут муж и жена только для дома Романовых и для народа... А так будут хранить жизнь девственную. Она приехала сюда, и брак этот был совершен... Теперь они поселились во дворце в Кремле... А он был московский губернатор назначен. Тогда существовало это подпольное, у которого было решение убить Сергея Александровича. Его почему-то не любили... Или уже начиналось это, чтобы уничтожить весь дом Романовых?... А Великая Княгиня получала такие письма, чтобы она с ним не ездила... Потому что ее убивать не хотят, она делала много добра для народа. А она все время нарочно с ним ездила, оберегала его. Ну, в один прекрасный день — как раз они должны были куда-то поехать в коляске, две лошади, кучер их постоянный — и уже сели в коляску. Вдруг она говорит: «Ах, я забыла что-то...» Платочек там или еще какую-то мелочь... И побежала. И в это время случилось... Был убит и кучер, и лошади. Она только кусочки подбирала... И палец с обручальным кольцом нашла

Потом ходила к нему в тюрьму. Говорит: «Зачем вы это сделали? Убили человека..» А он ей ответил: «Это не мое дело. Это мне приказали». Она тогда написала Николаю, просила простить. А Государь ответил ей, что помилование никогда не дается убийцам, кто убил из дома Романовых, и он ничего не может сделать... Его повесили потом или там — не знаю. И тут уж она сразу решила, что нужно начать какое-то дело... Вот поехала она в Орел. А она была шеф Черниговского полка, который там стоял, в Орле. А Батюшка наш был военным священником этого полка... И он уже был священник знаменитый, он там особенно отличился. Родился-то он в Воронеже, в Воронежской губернии в семье сельского священника. Потом, кажется, на врача учился, а потом сразу повернул на священника. И вот он уже был в Орле, как-то во сне ему явился Святитель Митрофаний и ангел. Святитель говорит ему: «Стой и жди. Сейчас придет к тебе Божия Мать». Он, конечно, на колени, и явилась ему Богородица и говорит: «Ты должен выстроить церковь во имя Покрова...» И все ему подробно объяснила, какое устройство должно быть, где какие иконы... И вот он сделал все, как ему Божия Мать приказала. Денег-то у него не было, не хватало средств. Но он все сам-один собрал... И чудеса там тоже были. Там женщина в Орле жила, у которой кирпичный завод. И вот раз снится этой хозяйке сон, будто приходит к ней Прекрасная Женщина и говорит: «Как тебе не стыдно. Тут церковь строят, кирпича им не хватает... А ты каждый день два раза мимо ездить и не догадываешься дать кирпич... Не видишь, что у меня нет кирпича?» — «А кто вы?» — спрашивает. «А я, говорит, — Хозяйка этого Дома...» Наутро она скорей бежит к Батюшке: «Сколько вам надо кирпича? Берите!.. А я-то по два раза в день мимо ездила и не соображу, что кирпича у вас нет...» И вот построил он церковь и стал служить), и столько всего у них было. И облачения неизвестно откуда взялись, шестьдесят облачений было. Я спрашиваю его: «Что вам, Батюшка, жертвовали?» — «Не знаю», — говорит. А при церкви он библиотеку устроил, школу. В этой школе законоучителем стал. Сейчас храм, говорят, давно сломан, а школа так и стоит... Он вот и в Орле уже такие дела делал, обительские... А потом Великая Княгиня попросила его устав написать. В каком виде

это будет обитель. Он и написал ей. Она тогда говорит: «Вы должны там быть настоятелем». А он не хотел из Орла, из своего храма уезжать. Очень любили его в Орле. Почитали. Вот и сейчас сюда еще из Орла его дети духовные приезжают... И вот было. Только он отказался ехать в Москву, обитель строить, у него страшно рука распухла. Врачи говорят: «Это что-то очень серьезное». Чуть не отнимать руку. Он тогда думает: «Может, мне это наказание?..» И согласился. Сейчас же рука прошла. Он опять отказался, опять распухла... И так до трех раз. Тут уж ничего не поделаешь... И вот устроили они с Великой Матушкой обитель такую, в которой можно было бы делать все виды добра, милосердия. А особенно больным помогать... Мы ведь там не монахини были, сестры милосердия главным образом. В монастырях вся жизнь внутри сосредоточивается, а у нас было служение миру. Это уж потом монашество приняли. Фрося приняла монашество тайное — наше тайное считается — по благословию старца Алексия в девятьсот пятом году... Это — в рясофор. А меня тогда не постригли. И уж в сорок седьмом году, за год до своей смерти, выходит Батюшка отсюда из комнаты. Видно, молился. «Скорей, скорей, — говорит, — я должен вас постричь. Готовьтесь...» Один день меня в рясофор, а потом в мантию вместе с Фросей. Фросю-то Любовью еще старец нарек... «А тебя, — Батюшка спрашивает, — как назовем?» А Фросе преподобный Онуфрий сказал во сне: «Надежда». Так и стала я — монахиня Надежда... А после, когда уж постриг, я в форме монашеской сидела за этим вот столом, Батюшка и говорит: «Как это ты так говорила обеты? Их надо твердо говорить, а ты мямлила...» Вот за этим самым столом. Батюшка, бывало, как что поставит, так у него стоит годы — не меняется... И вот прислал он тогда после войны уже письмо. Не нам с Фросей, а своим родственникам, своей Матушки родственникам... У Матушки Батюшкиной случился паралич, а у него — жаба, и вот они вдвоем в этой избушке. Мы как узнали, Фрося загорячилась: «Бросай работу и сейчас же поезжай к Батюшке!» И сама отпросилась на день в школе. А мы у них только еще совсем недавно были — на именины, двадцать пятое сентября. А туг пятое октября. Батюшка сидит на скамеечке около дома. Задыхается, бедненький, у него приступ жабы. И вдруг мы идем. «Что такое? Что это вы приехали? Что это значит?» — «А мы, — говорим, — прочли письмо». Фрося говорит: «Я к вам Зину определяю, пусть вам поможет». — «Что ты, Фросенька... Она сама больная, а мы такие тяжелые...» — «Ну, пока, Батюшка, позвольте. Дверь вам буду открывать... (А к нему народ целый день — все идут и идут, а он все бежит, дверь открывает.) Матушке помогу, сготовлю... А обратно я не поеду, если не выгоните. А так прошу благословения мне тут пожить...» — «Но я так боюсь, ты ведь тоже больная... И Фрося там одна...» — «Нет, — говорю, — теперь вы у нас тут один, я должна вам тут послужить..» И вот Фрося уехала, а я осталась. Сначала ничего не знала, в деревне ведь никогда не жила. Как печки топить Батюшка говорит: «Ты и самовар поставить не сумеешь, в трубу воду нальешь...» И так осталась я тут. Прожила недели две и привыкла. Уборку произвела у них тут, это я любительница. И к Батюшкиной Матушке я уже привыкла. Она лежащая больная была. Надо ее умыть, посадить, приготовить ей еду, завтрак дать. Только чашечку кофею с молоком и кусочек хлеба маленький с маслом, яичко... И все Больше она целый день ничего не ест. А в постный день вообще есть не станет. Только, может, хлеба кусочек и чашку чаю без молока... И вот говорит Батюшка Матушке: «Олюшка, как хорошо нам с Зиной...» Вот так вот стояла его кушетка, а я на печке спала... И вот утром строго он мне так говорит: «Сестра Зинаида, пойдите сюда...» Я испугалась, сейчас гнать будет. А он мне говорит: «Здесь у нас маленькая Марфо-Мариинская обитель. Я — старый настоятель... Матушка моя больная монахиня. Можешь ты нам послужить?» А я: «Батюшка, как благословите. Если вы меня называете сестрой, я буду рада вам послужить. Я себя считаю недостойной...» — «Ну, тогда, — говорит, — ты здесь останешься до смерти. Только вот что я тебя с Фросей разлучил... Ну, ничего, и Фрося здесь будет...» Тут я и осталась. Бывало, Матушку вымою. А он сам моется. Посадит меня сюда к окну: «Ты сиди тут и смотри в окно, не поворачивайся. Нельзя...» А Матушка с постели: «Можно, можно! Скорей можно!..» Это чтоб он оделся скорее, не простудился. А потом чай ему приготовлю, воду уберу. И он у меня чай пьет после бани. И так это хорошо мы зажили, то есть мне особенно хорошо... Фрося приезжала к нам часто. Крупы всегда привезет, сахару и всего — от семеновских, да и так. А я себе на печке обклеила, иконы, устроила себе уголок... Батюшка заглянет: «Тут у

тебя келья»... А потом еще наша сестра — Поля — к нам приехала. И стала она по хозяйству и в огороде, и с печкой, а я при Батюшке... И вот заболел он у нас. И Матушка его болеет, и сам заболел — простудился, крупозное воспаление легких. Уже не вставал. Раз мы с Полей молились преподобному Сергию, акафист читали. Батюшка очнулся: «Что это вы такое там делаете? Благоухание какое-то?» — «А это мы, Батюшка, акафист преподобному Сергию читаем». — «А-а. Я и гляжу: Старец стоит...» А другой раз плохо ему стало: «Зина, читай отходную...» Я читаю, боюсь, а он и говорит: «Вот святитель Митрофаний подходит, благословляет...» А потом уж совсем плохо: «Надо причаститься... Дай мне Святые Дары...» Они у него тут хранились... Потом попросил зеркальце. У нас тут зеркала не было, Батюшка говорил, что у монаха зеркала не должно быть... Взял зеркальце, поглядел и говорит: «Еще жизнь есть...» А последние минуты днем наступали. «Давайте, — говорю, — Батюшка, переоденемся...» Переодели мы его, сел он поперек кровати. А я посуду мыла чайную. А он так тяжело дышит и на меня смотрит... Глаза такие большие... И вдруг как откинулся об стенку головой и... готов. Я схватила свечку, скорей молиться... А Матушка из-за занавески: «Что там такое?» — «Ничего... С Батюшкой плохо...» Тут она встала и поглядела: «Что это? Все?..» Скорее узелок свой схватила и на кровать... А ей когда-то сказали, что она в один день с ним умрет. Было это двадцать третьего марта, на день Лидии. Народ к нему, конечно, шел. Платочки ему в гроб клали, полежат они там, и опять берут себе. Гроб такой громадный был, широкий... А так легко вынесли в эту дверь — все удивлялись. Погода была ужасная, дождь лил прямо на него. И Матушка тогда ехала, лошадь сзади шла. А его до кладбища на руках несли... Одна деревенская речь говорила: «Как нам не плакать? Кто это говорит, чтоб мы не плакали?.. Все мы к нему прибегали, всем он нам советовал...» И так громко кричала, на все кладбище... Пришли мы с похорон. Матушка легла, забылась... И вдруг как закричит: «Что? Два года? Два года!...» — и заплакала. Это ей еще, значит, два года смерти ждать... «Так долго, так долго...» И прожила она у нас еще два с лишним года. Мы-то думали, она скоро за ним пойдет. А на вторую годовщину опять узелок свой взяла, ждала смерти... Потом расплакалась: «Скоро ли?» Умерла в сентябре, в день своего Ангела. Ночью очень мучилась. Я Псалтырь ей читала... Глядит на стенку, а тут этот портрет Батюшки и висел, она и говорит: «Скоро?! Скоро?! Скоро?!...» И схоронили мы ее в Батюшкиной могиле, рядом гроб положили... И вот после ее смерти Фросе во сне является Батюшка. И как стукнет посохом: «Сейчас же бросай работу, езжай живи к Зине!» Она ему; «Батюшка, мне пенсию надо отработать». — «Никакая тебе не нужна пенсия. Езжай к Зине!..» И стали мы тут жить с Фросенькой. А потом и ее я схоронила. Она свою смерть предчувствовала. Ко всем за десять даже километров прощаться ходила. Насчет похорон все распорядилась, как поминки, как что... Это она нашим деревенским, а мне не велела говорить, и сама ничего не говорила. Жалела меня... Сердцебиение у нее было ужасное, врачи удивлялись... А все что-то делала, не могла без дела... Что-то делала в огороде, упала — сотрясение мозга... Потом простудилась — воспаление легких. Я ей вот тут кровать поставила, она так и лежала. И все, все терпела. Это как наш Батюшка говорил; «Не просто терпение, а благодарное и радостное терпение...» Первого марта — Антонины праздник был — пришли к нам две именинницы Антонина и Евдокия. Блинов принесли, рыбы жареной... Масленица была. Фрося моя так хорошо блинков поела... Ну, ушли гости. Она лежит. «А ты, говорит, — читай вечернюю молитву...» Я читаю, и все она что-нибудь видит, «Смотри, — говорит, — сколько ко мне гостей пришло... Марфа, Мария, преподобный Онуфрий, преподобный Сергей, Матушка Великая... Что это они тебя благословляют, а меня нет... Ах, вот и меня благословили... Батюшка, пришел Батюшка... А Зина как же?...» Тут она и заплакала. Это он, наверное, ей сказал, что я еще тут останусь... А на утро поднялась в шесть часов. Ходит по комнате, смотрит... Я ей: «Ну что ты встала?» Она — ни слова. Потом: «Зина, ты все хорошенько убери. Чтобы на комодке порядок был...» Подошла ко мне, к комоду, поглядела на меня и повалилась... Похоронили мы ее тоже с Батюшкой, гроб в гроб... Вот и осталась я тут одна... А Батюшка еще при жизни говорил: «Я после смерти вас не оставлю. Буду иметь дерзновение у Господа. Буду о всех о вас заботиться...» Это ему Матушка Великая всех поручила, когда ее арестовывали... В восемнадцатом году. Приехали они в обитель во Вторник на Пасху, в третий день. «Мы должны вас увезти». Тут сразу вся обитель узнала, все

сбежались. Она попросилась у них помолиться. Разрешили. Пошла она в больничную церковь. Батюшка к ней пришел. Сестры окружили... «Ну, — эти говорят, — надо ехать». А сестры тут: «Не отдадим мать!» Схватили ее руками. А они говорят Батюшке: «Мы ведь посланные. Мы должны это сделать, чтобы хуже не было...» Посадили ее и сестру с ней, келейницу ее Варвару... Она говорит Батюшке: «Оставляю вам моих цыпляток...» Была она и мать, и друг, и настоятельница была мудрая. И молитвенница особенная. Стояла, как изваяние, не шелохнется. Сколько раз в церкви заплаканную ее видела... И повезли ее... И сестры бежали за ней, сколько могли... Кто прямо падал по дороге... А я тут как раз пришла к обеду. Слышу, диакон читает ектенью и не может, плачет... И увезли ее в Екатеринбург, с каким-то провожатым и Варвара с ней. Не разлучилась... Потом письмо нам прислала, Батюшке и каждой сестре. Сто пять записочек было вложено и каждой по ее характеру. Из Евангелия, из Библии изречения, а кому от себя... Она всех сестер, всех своих детей знала... И потом еще посылка от нее пришла — булочки какие-то нам всем... Говорят, потом их всех в шахту бросили. А Варваре сказали: «Вас мы не хотим бросать. Вы к ихней фамилии не принадлежите». А она им: «Как с Матушкой поступаете, так и со мной...» Не разлучилась... А еще говорят, что в Святой Земле, в монастыре нашем, русском, есть гроба их серебряные — Матушки Великой и Варвары... Там она и легла, где хотела... А Батюшка еще Фросе во сне говорил: «Не тревожьтесь ни о чем. Все у вас будет в достатке». Я вот пенсию не получаю, хоть у меня стаж сорок лет... А живу — и никакой нужды... Дрова мне добрые люди бесплатно привозят... Огород копают, все сажают... За электричество с меня денег не берут... Хлеба всегда принесут, молока... И деньги присылают... Мне тут один из города, из собеса, пришел воды напиться: «Что-то, говорит, — я вас не знаю. Вы пенсию получаете?» — «Нет», — говорю. «Как так?» — «А вот так...» — «Я вам могу выхлопотать». — «А мне, — говорю, она не нужна...» Так и живу тут, как Батюшка мне благословил, до смерти... А летом тут у меня народу много... Сестры бывают наши — Даша, Мария, Нина, Анна... Приезжают хоть на денек к Батюшке на могилку. Дети его духовные из Москвы, из Орла — каждый год... Да мало уж нас в живых сестер-то осталось, штук, наверное, двадцать... Батюшка нам так сказал: «Здесь у вас маленькая обитель. Всех, кто приходит к вам, принимайте...»

Господи, до смерти моей не дай мне забыть — курчавые облака, небо, распаханное над лугами и дальним лесом, речушка Малица, толпа старых берез с тучей птиц над ними, грачиное «Р» над полуброшенной деревней, развалины церквушки, избушка Батюшки, его огород, где он копал картошку, его ель, которая так разрослась, его обительское кресло с потертой бархатной подушкой, кивот с безыскусными украшениями, лампадки, бумажные сытинские иконки, Святитель Митрофаний, Преподобный Онуфрий с бородою ниже колен, Преподобный Серафим согбенный и в такой же полумантии, как у Батюшки, и фотографии, фотографии — удивительное Батюшкино лицо, Великая Матушка с прямым носом и тонкими губами, Валентина Сергеевна, Батюшкина Матушка, Фросенька с цветами, и вечером тоненький голосок: «Се Жених грядет в полунощи...» и самая Матушка Надежда, и как она провожала меня, как мы шли с ней через рожь, и как она потом стояла возле кладбища, где Батюшкина могилка, худая и прямая, со своим посохом, и как смотрела мне вслед, и как я, уже не различая черт ее лица, все еще чувствовал на себе ее взгляд несказанной доброты и кротости — все, что осталось в этом мире от Марфо-Мариинской обители милосердия.

июнь-июль 1971

Нет, нет, он не забыл, не забыл...

А я?..

А мне?...

А у меня?...

Да и откуда ей взяться, вере-то?

Елка на Рождество?

Куличи на Пасху?

Блины на масленицу?

В марте жаворонки?

И там где-то далеко-далеко моя няня — не Матрена — та, первая... И вынос Плащаницы... И слеза катится по рябой щеке...

Ах, зачем вы прогнали ее?..

Зачем не разбудили меня к Заутрене?..

Может быть, жизнь моя, вся моя жизнь пошла по-другому?..

Поздно теперь, поздно!

Чего и вспоминать...

А я. и вера-то Твоя, вера-то вся ваша — вое равно лазейка, все равно — сердобольная ямочка...

Нет!

Нет!

Не хочу!

Не хочу сердобольную ямочку!

Дави меня!

Дави!..

Слышишь?

Ты слышишь?!

Не хо-чу!...

А субботним утром, в канун Троицына Дня длится в церкви бесконечная вселенская панихида Ясные снопы свечей, разноцветные блики лампадок, женские вздохи, приглушенное всхлипывание, дребезжащее старушечье «по-ми-ии-луй», шелест записок с именами и монотонные голоса, изредка чуть возвышаемые на слове «новопреставленного».

И вот из этого полусшепота, из этой полумглы вырвался, взмыл к самому куполу четкий голос иерея:

ЯКО ТЫ ЕСИ ВОСКРЕСЕНИЕ И ЖИВОТ И ПОКОЙ УСОПШИХ РАБ ТВОИХ:

ПРАВОСЛАВНЫХ СВЯТЕЙШИХ ПАТРИАРХОВ,

ПРЕОСВЯЩЕННЫХ МИТРОПОЛИТОВ,

АРХИЕПИСКОПОВ,
ЕПИСКОПОВ,
АРХИМАНДРИТОВ,
ПРОТОИЕРЕЕВ,
ИГУМЕНОВ,
ИЕРОМОНАХОВ,
ИЕРЕЕВ,
ДИАКОНОВ,
КЛИРИКОВ,
И ВСЕХ СВЯЩЕННИЧЕСКОГО,
МОНАШЕСКОГО
И КЛИРИЧЕСКОГО ЧИНА,
БЛАЖЕННЫХ СОЗДАТЕЛЯ СВЯТАГО ХРАМА СЕГО,
СЛУЖИВШИХ В НЕМ БРАТИИ НАШИХ,
И ВСЕХ РАБОВ ТВОИХ ПЛОДОНОСИВШИХ И ДОБРОДЕЯВШИХ
В СВЯТЕМ И ВСЕЧЕМ ХРАМЕ СЕМ,
И ВО ВСЕХ СВЯТЫХ ТВОИХ ХРАМАХ И ОБИТЕЛЕХ,
ВО ВСЯКОМ НАЧАЛЬСТЕ И ВЛАСТИ
И СЛУЖЕНИИ БЛАГА РАДИ ОБЩАГО ПОТРУДИВШИХСЯ,
МИЛОВАВШИХ НИЩИЯ,
ПОСЕЩАВШИХ БОЛЬНЫЯ,
ЗАСТУПАВШИХ НЕМОЩНЫЯ,
ПОДВИЗАВШИХСЯ ЗА ПРАВДУ,
СКОНЧАВШИХСЯ В ПЛЕНЕНИИ И ЗАКЛЮЧЕНИИ,
В ГОРЬКИХ РАБОТАХ, В РУДАХ,
В УЗАХ И ТЕМНИЦАХ,
ПОГИБШИХ ОТ МЕЖДУУСОБИЯ,
И ВСЕХ РАБОВ ТВОИХ ВНЕЗАПНОЮ
И НАСИЛЬСТВЕННОЮ СМЕРТИЮ СКОНЧАВШИХСЯ,
И ПРЕДСМЕРТНАГО ПОКАЯНИЯ

И ПРИЧАЩЕНИЯ СВЯТЫХ ТАИН НЕ СПОДОБИВШИХСЯ,
ПРАВОСЛАВНЫХ ВОИНОВ НА ПОЛИ БРАНИ УБИЕННЫХ,
СКОНЧАВШИХСЯ ВНЕ УМА И ПАМЯТИ,
ОТ РАЗБОЙНИКОВ И НАВЕТЧИКОВ ЖИЗНИ ЛИШЕННЫХ,
УМЕРШИХ ОТ ОГНЯ, ГРОМА И МОЛНИИ, ОТ МРАКА,
ОТ ЯРОСТИ СКОТОВ И ЗВЕРЕЙ, ГАДОВ И ПТИЦ,
В МОРЕ, РЕКАХ, ЕЗЕРАХ И ИСТОЧНИКАХ УТОПШИХ,
И ИНЫМИ МНОГОРАЗЛИЧНЫМИ ВИДЫ НЕЧАЯННЫЕ СМЕРТИ СКОНЧАВШИХСЯ,
ПО БЕДСТВЕННОЙ СМЕРТИ ПОГРЕБЕНИЯ ЛИШЕННЫХ,
СИРОТЫ И НИШИЯ,
УБОГИЯ, СТРАННИКИ И МЛАДЕНЦЫ,
ПРАОТЕЦ, ОТЕЦ, БРАТИИ И СЕСТР НАШИХ, И ВСЕХ ЯЖЕ ОТ ВЕКА И ДО НЫНЕ ТВОИХ
РАБОВ ОТ ЧЕТЫРЕХ КОНЕЦ ЗЕМЛИ В ПРАВОСЛАВНОЙ ВЕРЕ СКОНЧАВШИХСЯ,
И ИЖЕ МЫ НЕ ПОМЯНУХОМ НЕВЕДЕНИЕМ, ЗАБВЕНИЕМ ИЛИ МНОЖЕСТВОМ ИМЕН,
В СЕЙ САМЫЙ ЧАС,
ВОНЬ ЖЕ МОЛИМСЯ ТЕБЕ,
ОТ СЕГО ЗЕМНАГО ЖИТИЯ ОТХОДЯЩИХ,
ХРИСТЕ БОЖЕ НАШ,
И ТЕБЕ СЛАВУ ВОССЫЛАЕМ
СО БЕЗНАЧАЛЬНЫМ ТВОИМ ОТЦЕМ
И ПРЕСВЯТЫМ И БЛАГИМ И ЖИВОТВОРЯЩИМ ТВОИМ ДУХОМ
НЫНЕ И ПРИСНО И ВО ВЕКИ ВЕКОВ, АМИНЬ.

11 марта 1977

г. Москва